

ТВОЯ ЧАША ВЕСОВ

Повесть

1

Было очень жарко.

Старший производитель работ Геннадий Емельянович Прохоров вошел в кабинет начальника строительного управления Олега Федоровича Конкина, настроенный сумрачно, заряженный горячими непечатными словами. Но этот заряд большой эмоциональной силы обрушить на строптивного начальника было никак нельзя. В кабинете сидела молодой специалист Ирина Ивановна Пеночкина. Вольно так сидела, вальяжно и независимо, нога за ногу, а ножки словно изваяны маэстро, который понимает толк в женской красоте. Улыбалась начальнику, а теперь адресовала свою приязнь и старшему прорабу, ее непосредственному шефу. Конкин, однако, прекрасно Прохорова понял и весело сказал:

- Осечка? Побереги патроны, Емельяныч! Они тебе пригодятся при другом разе!
- Вы зачем у меня кран отобрали? Вы не крана – ложки меня лишили!
- Побереги патроны, говорю. И приготовься ответ держать. По всей строгости спросим. Позавчера мы с Ириной Ивановной тебя видели.
- Где?
- Сейчас ты это вспомнишь.
- С кем?
- И это ты сейчас вспомнишь, уважаемый. Все вспомнишь! Давай, докладывай. Только чтобы все по-честному было, без выкрутасов!

Геннадию Емельяновичу была задана очередная задача, поставившая его в тупик. Атака не получилась, наступательный пыл иссяк. Он наморщил лоб. И морщины контрастно отделили его лоб от лысины, которая начиналась сразу за ним. К лысине загар почему-то не прилип, наверное, кепочка ее защищала, а лоб был почти такой же коричневый, каким бывает печеное яблоко. И щеки тоже. Позавчера он, вроде бы, не позволил себе ничего такого, за что полагалось ответ держать.

- Не... не припоминаю ничего. Федорович, за что ложаешь?
- А ты подумай. Это тебе не шалтай-болтай. Не наряды закрывать, с потолка объемы притягивать. Тут интеллект напрячь полагается. А чтобы его напрячь, сначала надо, чтобы он имелся в наличии. И это мы сейчас проверим.

Старший прораб подумал, вскинул голову, приосанился и с обидой произнес: «Ничего компрометирующего меня у вас нет».

- Не слышу мужской твердости в голосе!
- Геннадий Емельянович подумал еще и сказал: «Чист я, во дне позавчерашнем нет за мной грехов». Он еще подумал и сказал, возвышая голос: «Позавчерашнее ваше подглядывание за мной в нерабочее время решительно осуждаю, как нарушение прав советского человека!»
- Женщина, с которой мы его видели, ему не запомнилась. Учреждение, из которого он выходил, не вызывает у него никаких эмоций. «Не знаю, не помню!» Мальчик из пятого класса. Сейчас мы услышим: «Я больше не буду!» Ханжа ты, Емельяныч.
- Ну, начальник!
- Вообще, конечно, это мелочь. Проза и будни. Это не запоминается, да и с какой стати? - сказал Олег Федорович. – Разве такое запомнишь? Обыденность это, из самых-самых...
- Вы терзаете меня! При подчиненной!
- Ладно, ладно. Не помнишь, и не надо. Мы тоже не будем этого касаться. Ближе к делу, старший прораб. Итак, какая у тебя ко мне нижайшая просьба?
- К делу, к телу! – Прохоров положил сверлящий дерзкий глаз на Ирину Ивановну, но молодой специалист отказалась понять намек. – Не терзайте! Где и с кем я кантовался?
- Облегчим ему душу? Ничто так не облегчает души ближнего, как сострадание друзей. Но перед этим я хочу вызвать у тебя положительные эмоции. Свой кран ты получишь завтра утром.
- Где и с кем? – Кран Прохорова уже не интересовал.

- Ты выходил из ресторана «Зарафшан». Под ручку со своей законной супругой. У меня брови на лоб полезли, так я удивился. Другому, доложи он мне об этом, я бы ни за что не поверил, но не верить себе у меня пока нет оснований.

Все трое смеялись легко и долго. Раскрепощенно так смеялись, душевно. В распахнутое окно вливался горячий майский воздух. Был виден сизый пыльный купол над Ташкентом. Правильный, словно очерченный циркулем, плотный купол нездорового лилового оттенка. Это была лессовая вездесущая пыль, вознесенная высоко вверх автомобилями и ветром; Ташкент стоял на лессовых грунтах.

2

- Сейчас Емельяныч скажет нам, что он семью укреплял, - предположил Олег Федорович.

- Я семью укреплял, а вы смеетесь, - улыбнулся Геннадий Емельянович. – Вам, Федорович, тоже бы не грех последовать такому положительному примеру. У вас семья не набрала еще высокой советской прочности. А вы смеетесь.

- А ты оппонент, Емельяныч!

- Можно? – Дверь открылась, вошел Василий Соколов, бригадир монтажников с участка Прохорова. Вошел, как к себе в бытовку. Глухим, медвежьим голосом поздоровался. Оглядел присутствующих, а присутствующие задержали глаза на его краснощеком, с лиловым шрамом лице, на громоздкой, прочно сбитой фигуре, облаченной в светлые джинсы и просторную серую рубашку. Джинсы были фасонисто подпоясаны толстым кожаным ремнем с массивной медной пряжкой.

- Где достал? – спросил Геннадий Емельянович.

- Джинсы?

- Ремень с блямбусей. Солидно смотришься!

- Сестренка подарила.

- Познакомь! – сказал Геннадий Емельянович.

- Нет, боюсь, – сказал бригадир.

- Я ведь паинька в женском обществе. Я в женском обществе ниже травы!

- За вас и боюсь! – простецки так сказал Василий Соколов.

Олег Федорович залился смехом: «Два – ноль, Емельяныч!» – Он держал себя за животик и никак не мог унять себя.

- У меня к вам разговор, - обратился к начальнику управления бригадир.

- Прямое начальство обходишь, не порядок, нехорошо, - сказал Прохоров. – Прямое начальство с сестрой познакомить отказываешься, высмеиваешь, разговоры-переговоры ведешь через его голову. Плохо начинаешь, Василий Павлович! Придется учесть твою нелояльность при закрытии нарядов.

- Вас не обойдешь, Геннадий Емельянович! Прошу присутствовать.

- Что у тебя? – переходя на деловой тон, спросил Конкин. – Бетон, вроде бы, поступал ритмично, я перед тобой чист. – Он замолчал, но подразумевалось продолжение: «Чего же тебе от меня надо сегодня, сию минуту, когда мои обязательства перед тобой выполнены в полном объеме, когда ты за мной, как за каменной стеной?» Высокий, жилистый и импульсивный, Олег Федорович не старался скрывать настроение, и потому всегда легко было догадаться, что он думает и что намерен предпринять. Соколова он знал мало, в лицо и по фамилии, и что на хорошем счету, то есть держит слово; и что занозист: лишнего не попросит, но на промах укажет без стеснения. Носом ткнет в промах: исправь или помоги исправить! Вот и все. Выделять его, пожалуй, было рано. Деловит, корректен, не лебезит, это, конечно, приятно. Но не один он такой крепкий, молодой да ранний. Следовало еще присмотреться, а потом уже выделять.

- Хочу подряд взять. На главный корпус завода «Жалюзи». Пусть моими будут фундаменты, каркас, стеночки-перегородочки, перекрытия, бетонные полы. Но без всего того, что не по моей части – без кровли, без сантехники и прочей начинки. И без отделки. Я подсчитал: мы уложимся в двенадцать месяцев. Семь месяцев останутся на отделочные работы и монтаж оборудования. Объект можно будет сдать досрочно – со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями для возвышения авторитета управления, для премирования всех, причастных к этому событию.

Олег Федорович улыбнулся.

- Какие у тебя люди, Емельяныч! Вот какие славные парни у тебя. Сами в огонь, в воду лезут. Ибо промелькнул там золотой телец и соблазнил. Эх, если бы за мной были только медные трубы, как бы зажили, а? Одно не по правилам – тебя, уважаемый старший производитель работ, не вижу впереди. – Все это, - он повернул к Соколову улыбающееся лицо, - я полагаю, от неприятия действительности? Соглашусь, она нас не всегда впечатляет. Соглашусь, она могла бы быть и получше. Еще скажу: и нам самим, и тем, кто над нами, надо больше стараться, чтобы она была лучше.

- Зачем же сразу такие некрасивые слова употреблять? Советская наша действительность, вроде бы, пока ничего, даже светлый завтрашний день нам обещает. А через двадцать лет вообще заживем, как у Христа за пазухой – при коммунизме! Об этом мы теперь на каждом перекрестке читаем! – сказал Василий Соколов. Его ответная улыбка вмещала в себя очень многое, в том числе и удовлетворение подчиненного, сумевшего задать задачу своему руководителю. – Мы с ребятами чего хотим? – Он спокойно переводил разговор в русло нужд сегодняшнего дня. – Чтобы порядка вокруг стало больше. Пойдет подряд, будет и порядок, и в зарботке прибавка. Что может быть естественнее этого желания? – Бригадир держал в руке тетрадочку с расчетами, и Ирине Ивановне было интересно, что же он написал. Но при начальнике, хозяйне ситуации, она не должна была проявлять упреждающего интереса. Она чувствовала: близко лобовое столкновение мнений, возможно, чреватое высокими тонами, искрами и синяками. Но позиция Конкина была пока не ясна. Позиция же Геннадия Емельяновича была ясна: он строго смотрел на молодого бригадира и взводил тугой курок. «А какова моя позиция, с кем я?» – спросила себя она. Была симпатия к Соколову, вернее, к его людям, которые работали честно и споро. Они могли и прибавить, при общей благоприятной обстановке. Давай, Вася, требуй содействия от нас, инженеров!

Что ж, человек загорелся, он одержим высокой идеей – браво! Его надо поддержать.

- Как ты представляешь себе подряд? – прервал паузу Олег Федорович. – Разъясни, пожалуйста. Какие обязательства возьмет на себя бригада, чего от меня потребует?

- От меня! Он меня будет ко дну пускать, если что не так, - сказал, насупившись, Геннадий Емельянович. – Откуда, Вася, в тебе эта самодеятельность, эта спешка? Не опоздаешь, гарантирую: до отправления поезда далеко. Нет, чтобы подойти, посоветоваться, вместе помараковать. Я бы объяснил тебе элементарно, что не готовы мы к подряду. Толя Злобин, зачинщик этого дела, конечно, голова, и за это честь ему и слава и высокие правительственные награды. Он теперь и в депутаты пойдет, его выдвинут – да, Олег Федорович? И в герои пойдет, звездочку ему точно повесят. Но у него одни условия, ему их создали, теплячок над ним возвели и отдельным калорифером обогревают, а в жару кондиционер подключают. А у нас другие условия. Он жилье возводит, у него поток, конвейер. Домостроительный комбинат его подстраховывает. А у нас промышленное предприятие, штучное изделие. Я бы все растолковал тебе, и ты увидел бы, что начальство, которое повыше, незачем беспокоить.

- Постой, Емельяныч!

- Тут, конечно, вы начальник, тут моя компетенция послабже, но свой взгляд на дело я тоже имею право довести до сведения присутствующих.

- Дозвольте дело изложить! – засмеялся Конкин.

- Вот именно! – раздался задорный голос Ирины Ивановны. На нее посмотрели с любопытством. Могла бы и выйти, подумал Прохоров. Прошвырнуться бы с ней куда-нибудь вечером, лучше всего на природу, на это она больше годна, еще подумал он. Скептически так подумал, веры в успех не было. День складывался так, что Прохоров был не в настроении, и Соколов своим упрямым и непонятым поведением только усиливал в нем скверное состояние духа.

- Докладывай, бригадир! – распорядился Конкин.

- У меня шестнадцать человек. Создадим два параллельных потока, для выполнения бетонных и монтажных работ. Шесть монтажников, десять бетонщиков. Два крана. Подчеркиваю: два, не один, как сейчас. Сейчас вы нас обездоливаете.

- Стаканы под колонны можешь бетонировать без крана. Подгоняй самосвал и заливай бетонную смесь, - сказал Геннадий Емельянович.

- Второй понадобится через две недели. Размеры корпуса таковы, что при двух кранах управимся за двенадцать месяцев. Одних колонн надо поставить 262. Но субподрядным организациям по совмещенному графику фронт работ предоставим гораздо раньше. Вы пустите завод досрочно, со всеми вытекающими для управления последствиями. – На эти приятные для управления последствия в виде теплого премиального дождя он и делал упор, они были главным его козырем.

- Вот как ты все рассчитал, голова!

Глаза Олега Федоровича оставались добрыми, но в них была та самая доброта превосходства, с какой он разыгрывал Геннадия Емельяновича. - У меня нет таких расчетов, а у тебя вот они, готовы. Фантазер ты, бригадир. Фантазер, а твое предложение – бомба замедленного действия. Не сочти, пожалуйста, это за окончательный ответ, дело у тебя важное, и я не меньше тебя заинтересован в его успехе. Возможности свои ты подсчитал правильно, теперь позволь и мне сделать это же. Так что ответ сейчас ты получишь предварительный, как принято говорить в таких случаях.

- Предварительный, но отрицательный! – брякнул Прохоров.

- Емельяныч, если бы к твоей понятливости еще и проворство, цены бы тебе не было. Но сейчас ты не прав. Человек пришел с серьезным делом. Умом пораскинул, размечтался. Воспарил, можно сказать. Посмотри, порадуйся, как он сначала растекся мыслью по дереву, а потом затрубил отбой и отсек все лишнее. На

себя взял только то, что хорошо знает и умеет и за что может ответить при любой погоде. То, на чем мы всегда спотыкаемся, на чем выговора зарабатываем – сантехнику, электропроводку, всю хитроумную инженерную начинку здания, всю хлопотную столярку-малярку он на себя не взял. И правильно, что не взял, умно, что не взял. Ибо не его это дело, профиль не его, не ему и отвечать. Есть производитель работ – ты, дорогой Емельяныч, есть для этого. Ты и заботься об остальном, ты и отвечай за объект в целом. Соколов фантазирует, конечно, но от земли идет, от родимой. Это и внушает уважение.

Но я сейчас постараюсь показать тебе, Василий Павлович, почему ты фантазер. Ты подряд просишь, тебе кажется, что ты на себя очень много берешь. И что тебе за это должна быть честь и хвала. А ты, дорогой, почти ничего на себя не берешь сверх того, что и так прямо входит в твои обязанности. Все дополнительное, что ты берешь якобы на себя, в действительности ляжет на мои плечи. Сначала на плечи Прохорова, но очень быстро – на мои. Твои люди и сам ты как работали, так и будете работать. Ну, рвения у вас прибавится. От остатков разгильдяйства освободитесь, подряд хорошо лечит от этого. Чувство локтя окрепнет. Далее, ты требовать начнешь. Материалы тебе вовремя дай, технику дай, фронт работ предоставь. Это азбука, без всего этого подряд – бумага, фикция. А давать и предоставлять кто обязан? Я. Могу ли я ручаться, что дам, предоставлю и обеспечу? Нет, это не всегда в моей власти, и ты об этом прекрасно осведомлен, не первый год замужем.

Пока сборный железобетон идет сюда, ты кум королю. А завтра его могут направить куда-нибудь еще, по указанию самого высокого начальства, и ты встанешь, будешь рубашку на груди рвать и на белый свет лаять: смотрите, все смотрите, какой я несчастный! Да только кто на тебя посмотрит, кто пожалеет, посочувствует? Пустой останется твоя протянутая ладонь, никто в нее копейки не положит! Я до министра дойду, со всеми переругаюсь, но ничего не добьюсь – министр тоже разведет руками, он только номинально всему голова. Тогда ты явишься пред мои очи, ткнешь пальцем в подряд и скажешь: срываешь обязательства, Олег Федорович! Не держишь слова! И бедному Конкину нечего будет возразить. Ты потребуешь четкости, слаженности – ты потребуешь порядка и будешь тысячу раз прав. А я буду посрамлен, посажен в лужу. Я не обеспечу тебе условия, которые ты вправе иметь, взяв подряд. То, что зависит от бригады, вы сделаете, я не сомневаюсь. То, что зависит от управления, от треста, от министерства, будет так же не ясно, как и сегодня, и ты знаешь, почему. Ибо от порядка на твоём рабочем месте до порядка в стране дистанция, сам понимаешь, какая. И я очень боюсь, что нам эту дистанцию не преодолеть.

- У вас получился исчерпывающий предварительный отрицательный ответ, - сказал Геннадий Емельянович.- Вы разжевали то, что я уложил в краткое «нет». Все сложится именно так, если не хуже, и кроме хлопот и выговоров, мы ничего не получим. Подряду нужен порядок, которого сегодня гарантировать мы не в состоянии. Мы разве хозяева на своих стройках? Мы разве здесь диктуем, что и как? Нет, нет и еще раз нет! У нас нет ни одного дисциплинированного поставщика!

Соколов смотрел на Конкина строго и весело, и трудно было понять, как это у него получалось. Его сейчас избили словами, не пуская в ход кулаки. Интеллигентно разделал его начальник. Я, мол, несостоятелен. И все. При моей, мол, несостоятельности вся твоя энергия, решимость, вера тоже в какой-то момент станут несостоятельны. Ибо мы взаимно зависимы. «Посмотрим! – подумал бригадир. – Прорвемся, докажем, посралим! А не получится, – будем вникать, в какую такую гниль мы зарылись, заблаговременно ее не разглядев, и как от нее избавиться».

- Не согласна с вами! – вдруг сказала Ирина Ивановна и на цыпочки поднялась, чтобы стать выше ростом. – Надо попробовать. И если нас ждет неудача, мы увидим ее действительные, а не умозрительные причины. Нам надо воочию увидеть, обо что мы споткнемся!

- Посадите пигалицу на месяц в свое кресло, пусть поруководит! – сказал Прохоров.

- Мне можно идти? – осведомился бригадир. Щеки у него были большие, пухлые и красные; левую рассекал глубокий шрам. «Не красавец, но очень хорош», - подумал про него Конкин.

- Иди, пожалуйста, и не питай обиды. Обещаю: как только будем готовы, первым подряд возьмешь ты. Поверь, не стоит губить хорошую идею дурным исполнением.

- Почему же дурным? – с обидой спросил Соколов.

- А каким же, если мы не готовы? Самодеятельность, не обеспеченная материально, и есть дурное исполнение.

Василий Павлович пожелал всем доброго здоровья и вышел. В дверях пригнул голову, чтобы не зацепиться за косяк. И Конкин, и Прохоров подняли на Ирину Ивановну виноватые глаза. Каждый из них словно просил ее быть снисходительной, войти в обстоятельства, почувствовать их силу и не спешить с наклейкой ярлыков. Ярлыков, и разных, на них и так было наклеено сверх меры. Они уже и плечиками потряхивать перестали, чтобы от них избавиться.

- Ну, вы не виноваты! – сказал Прохоров Конкину.

- И ты не виноват! – сказал Олег Федорович.

- Это почему вы не виноваты? – спросила Ирина Ивановна. – Вы виноваты в том, что у вас в управлении мало порядка.

- Скоро букварь она вам купит, начальник, - сказал Геннадий Емельянович. – Нет, дайте девочке поруководить. Мне интересно, что из этого получится.

- Надо говорить «у нас», - сказал Олег Федорович мягко, но назидательно. – Ты уже два месяца как наша, и все наше здесь теперь твое. Так что не обезличивай себя. Наш беспорядок – это уже и твой беспорядок. Или ты не согласна?

- Я всегда удивлялся вашему умению сажать в калошу, употребляя слова простые и добрые, - сказал Геннадий Емельянович. - С удовольствием бы перенял!

- Это называется «открывать глаза».

- Откройте мне глаза! – попросила Ирина Ивановна. – Почему вы считаете, что нам не добиться ритма в поставках материалов? Только поэтому вы отказали Соколову.

- А когда у нас был ритм? Припомни и подскажи! Мы, например, при сем давно уже не присутствовали!

- Но он должен быть. И если его нет, надо посмотреть, правильно ли расставлены кадры.

- Эдак мы до московских структур дойдем, но мало чего поправим. Должен, конечно, быть ритм. Но нас бьют и случайности, и волевые решения. Какая-нибудь стройка объявляется особо важной, и все бросают туда. Мы раздеты и загораем, а там все кипит и люди трутся друг о друга задницами, мешают друг другу. Аврал, ура-ура! В конце концов, нас тоже бросают туда, в толчею и всеобщее кручение. В бестолковщину, ведь другими авралы не бывают. И мы рапортуем о досрочном пуске. Но молчим о том, что эта досрочная победа в одном месте привела к застою на других стройках. Такова сегодняшняя практика. «Не уверен – не обгоняй». Это написано на кузове каждого грузовика. Я не уверен, а меня толкают обгонять. Меня толкают совершить дорожно-транспортное происшествие!

- Нас в институте учили другому.

- Вас учили тому, что должно быть. Но жизнь вносит поправки. Это своеобразный коэффициент шероховатости при переходе от желаемого к прозе жизни. Низким в нашем строительном деле он не был никогда.

- Лучше набить синяки, добываясь порядка, чем ждать и паясничать.

- У молодого специалиста прорежутся зубки. Все это твои кадры, Геннадий Емельянович. – Конкин намекал на то, что Ирина Ивановна работала строительным мастером на участке Прохорова. – Вольнодумство поощряешь. Расскажи-ка о Соколове. Любопытный парень. Рожа и плечи, как у громады. Видно, рожа-то бандитская и обманывает. Вник-то он глубоко. Кто он, что он? Чего от него ждать?

- И с кем живет?

- Это пока не столь важно. К нам еще не поступало сигнала о том, что он живет не с той, с кем надо, и не так, как надо.

- В вашем восприятии, Ирина Ивановна, мои шутки тяжелы, почти неуместны. Понимаю. Вот, если бы мы сейчас по сотке приняли, на предмет восстановления душевного равновесия, нам бы всем полегчало. Одобряете деловое предложение?

- Я в это не играю, - сказала Ирина Ивановна.

- Организуй, старший прораб. Благословляю.

- Может, «сухача» взять? От маленьких градусов и дама не откажется.

- «Сухарика» откушаешь? – спросил Олег Федорович.

- Что это?

«Наивность милая нетронутой души!» – продекламировал Олег Федорович.

- Ей самой букварь нужен, - сказал Геннадий Емельянович. – Так мы именуем безобидное сухое вино, благодаря которому в Грузии, Абхазии и иных близких к ним краях люди до ста лет не знают старости. Возьмем «сухарика» и покатаем на «Рохат». Окунемся, пора уже купальный сезон открыть, в шахматы сразимся. Раскрепостимся. Проигравший платит.

- Это справедливо. Я буду вынужден тебя побрить, чтобы не нанести урона семейному бюджету. Машина у подъезда. Но закруглим дело. Что ваш Соколов? – сказал Олег Федорович.

- По мне, симпатичный парень. Медвежья наружность, а душевно тонок. Два года как из армии, год бригадирует. Головаст. Все ему в объекте должно быть ясно, тогда приступит. Ходоков от него еще не было – значит, справедлив. Любит порядок. У него на сознательности все складывается, на личном примере, крика и всякого шума он не жалуется. Когда идешь по его площадке, кирпича не поднимешь, все употребляет в дело. И, в то же время, своего не упускает, меня заставляет вертеться.

- Тебе полезно, пузо не так скоро отрастишь, - сказал Конкин Прохорову.

- Въедлив он, о, въедлив! Вцепится, как бульдог. Вы, мол, прораб, так будьте любезны, обеспечьте. Я ему про обстоятельства, а он: «Это не моя забота!» Обеспечивай его, и все.

- «Будьте любезны» – это опасно, это дистанция. От «будьте любезны» всегда последствия и неожиданности непредсказуемые. Но меня он ни разу не побеспокоил.

- Соблюдает субординацию. Зато меня трясет так, как наше землетрясение не трясло. Говорю себе: на свою голову поставил бригадиром, пожинай, Гена, теперь плоды, собирай ягоды. Но, ведь, поделом трясет. Трясет, потому что стоять не любит. Зато халтура у него не проходит. За другими глаз да глаз нужен, ему же у меня полное доверие. Сказано – сделано, тут мне легко. Вот я и соображаю: с одной стороны, въедливость его поперек горла становится, я не художник, не могу жить по принципу: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить». С другой стороны, не подводил и не подводит, халавы не подсовывает. Чего еще желать от бригадира, чего требовать?»

- Тогда терпи и на щит поднимай.

- Ну, хвалить-захваливать мы повременим, это успеется. Но, если уж итоги подбивать, не жалуясь, начальник. Ирина Ивановна, имеешь ли что-нибудь добавить в развитие характеристики, данной мною гражданину Соколову?

- Вы вполне объективны.

- Теперь скажи, Емельяныч, почему он тебя с этой инициативой обошел? Не доверяет? Стесняешь молодежь? Песни свои не даешь молодым петь в полный голос?

- Не думаю я так, начальник. Все проще. Знает он меня, как облупленного, а я – его. А когда знаешь человека, все его ходы-поступки легко предвидеть. Зачем же лишние разговоры вести? Плохого нет в том, что он через мою голову к вам обратился. Он свое и мое время поберег.

- Да, Емельяныч, обошел он тебя, и это симптом. Симптомчик к размышлению. Значит, у вас служба, и только. Без доверительности, которая цементирует службу в дружбу. Душевного притяжения не вижу, контактов душевных. Имей он тебя союзником, я бы от вас двоих так легко сейчас не отбился.

- А! – хмыкнул Геннадий Емельянович. – Недосуг мне еще и в душевные контакты с подчиненными входить. Обойдусь, и он обойдется, кручения-верчения и без этого хватает. Я ему в папаши гожусь.

- Не видит ли он в тебе консерватора? – предположил Олег Федорович.

- Я, как все, - снова хмыкнул Прохоров. – Я, как вы. Вместе с вами согласен быть консерватором или какой-нибудь другой некрасивой фигурой, в которую все пальцами тычут.

- Это ты правильно сказал. За эту твою четкую ориентацию благодарю, а иногда и премирую. Но мой тебе совет: будь поближе к этому человеку. Он с большим делом сегодня приходил. С серьезным делом. Это дело не только его, но и нас высоко поднять может. Вот мы почти отказали ему, а жалко. Хотя, разделение труда здесь скорее всего так сложится: прожектора на него светить будут, а в лужу мне садиться. Вероятность глубокой лужи тут ой как велика.

- Глубокой ямы! - поправил Геннадий Емельянович.

- Циники вы заскорузлые! – сказала Ирина Ивановна.

- Подарим ей букварь? – спросил Геннадий Емельянович. – Ну, и задорна ты, мать! Субординации не нарушай, у нас это дурной тон и ложка дегтя. Ну, я помчался за «сухариком».

- Циники! – усмехнулся Олег Федорович. – Забавно.

- Я знаю, этой ночью вы оба будете думать о себе плохо, - сказала Ирина Ивановна.

- И утром головка будет «бо-бо», но по другому поводу! – засмеялся Конкин.

4

Контора управления размещалась в уютном особнячке, в тупике, вдали от высокого начальства – тишь да гладь да прохлада вокруг от заматеревших деревьев. Лучшего, считал Олег Федорович, и не надо. Управленческая, со стажем «волга» вклинилась в автомобильную реку улицы Шота Руставели, и река эта понесла ее мимо автостанции и Южного вокзала на кольцевую магистраль. Стало свободнее, в окна ворвался знойный ветерок, замелькали частные конопатые домики, садики, капустные и помидорные грядки, теплицы. Кольцо должно было километров через пятнадцать вывести их прямо на «Рохат». Вдруг с ревом, с громом, заглушив все окрест, прошел над ними на посадку и накрыл на мгновение черной тенью «Ил-62». Это была махина. Аэропорт, - его строили еще до войны сразу за городской чертой, давно уже стал частью города, который спокойно через него перехлестнулся. Геннадий Емельянович сидел с водителем, Олег Федорович и Ирина Ивановна – сзади. Ирина перехватила несколько пытливых, изучающих взглядов начальника. Подобралась, посерьезнела: взгляд был чисто мужской, ищущий, плотоядный. Она понимала стремление Конкина сократить дистанцию между ними, но отклика оно у нее не находило. Любопытство, правда, присутствовало, тут она ничего не могла с собой поделать. Все равно, дистанция должна быть незыблемая и четко обозначенная, - это она понимала.

Два месяца назад, когда после защиты диплома она приступила к самостоятельной работе и все для нее было исполнено особого значения, Геннадий Емельянович, ее непосредственный шеф, тоже стремился сократить дистанцию между ними. Звал на какие-то вечеринки: «Давай развлечемся, мать! Давай проверим линию бедра,

мать!» Он был нелеп, и с ним все было ясно – и чего он от нее добивается, и как ей вести себя, чтобы все его поползновения получали от ворот поворот. «Вы мне в папы годитесь, дядя Гена, - с улыбкой говорила она, - побойтесь Бога!» Все точки она расставила быстро, он не обиделся и демонстрацию своих чувств (а разве они были?) прекратил. Между ними установились чисто деловые отношения, простые и без полутонов. Правда, с его стороны присутствовали оттенки покровительственности, а с ее – элементы веселого подтрунивания, но без передозировки.

С Олегом же Федоровичем все получалось сложнее. Во-первых, иногда она думала о нем сама. Старалась понять, составить мнение. Ей двадцать три, ему тридцать шесть. Он симпатичен, умен. Бывает резковат и категоричен, а бывает и необъяснимо мягок. Она слышала, что он как будто несчастен в семейной жизни, но в подробности посвящена не была. Вот и все сведения, которыми она располагала. Мало, конечно, чтобы составить собственное мнение. И мнение, в целом, у нее еще не сложилось, а было любопытство, женское, затаенное. Не маленькое и не большое, обыкновенное. Проявлять и высказывать его не полагалось.

Он снова посмотрел на нее и быстро отвел глаза. Ей сделалось совсем неудобно, она заставила себя смотреть в окно. Справа доминировал зеленый цвет, а слева проплывала городская застройка, еще не сформировавшаяся в нечто цельное. Потом начался берег Чирчика. Серая вода текла быстро, ее поверхность повторяла неровности дна. Бугрились волны. Дальше простиралась галечниковая пойма. С правого берега ее активно теснили заводы, левый же стал застраиваться с недавнего времени. Вот и выплеснулся Ташкент за реку Чирчик. Если Ирина не видела в этом ничего необычного, то Олег Федорович помнил, как во времена босоногого детства он ездил на велосипеде сюда купаться, подбрехать марлей медлительных пескарей. Полями они проезжали тогда восемь километров. Все эти восемь километров теперь были городом. Неукротимо, неугомонно рос Ташкент, тугие дрожжи распирали его во все стороны. Его и бетонное кольцо окружной автострады не останавливало. И где же оно, счастливое детство, где они, восемь километров капустных и помидорных полей, мимо которых они важно шествовали на Чирчик? Где забияки-сверстники, с которыми тогда было так хорошо? На каких берегах житейского моря они обосновались?

Сейчас у города появились повадки молодого задиры, готового напереть плечом на каждого, кто ему мешает. И так будет до тех пор, пока устремление вширь не сменится устремлением ввысь. Для Олега Федоровича это была привычная ассоциация, для Ирины Ивановны – свежая, открывающая новые прелести ее профессии. Конкин молчал, и она молчала, но в этом молчании были напряжение, тревога. Геннадий Емельянович отключился и дремал. Его круглая лысина безвольно колебалась на спинке кресла. Набегался, накричался и умирался. Еще этот импровизированный розыгрыш. Ирина Ивановна смотрела в окно, а думала об Олеге Федоровиче. Геннадий Емельянович проще, прямолинейнее: что на уме, то и на языке. Она не задавалась, когда он забрасывал удочку, – не брала наживку, и все. Сохраняла ровные отношения, не подводила. И Прохоров быстро оценил это, удочку аккуратно смотал. Не обиделся. Позволял себе самое малое, одну-две фамильярности в неделю, без которых было нельзя. Он мог встретить ее вопросом: «Мать, как у тебя сегодня линия бедра, в порядке? Посягательств не было? Боже мой, как бедно ты живешь! Никаких проблесков!» Дистанция между ними, небольшая, но устойчивая, ее вполне устраивала.

Олег же Федорович, в который раз убеждалась она, был не так прост, у него бывали зигзаги и странности, обращавшие на себя внимание. Главное же, он был целеустремленней и настойчивее, вел себя, как свободный человек, у которого все впереди, но пока не переступал грани дозволенного. И потому с ним ей было труднее. Он словно показывал ей себя всего, без намека на возможное общее будущее, но с явным желанием заинтересовать, войти в контакт, наметить точки соприкосновения. Ей импонировали ненавязчивость его поведения, широкий взгляд на жизнь, оставляющий место под солнцем и для человека с иным мнением. Но... в это она старалась не углубляться. Зачем? И так было тревожно, почти непредсказуемо. Главное: он был женат, и в нем было много чужого, вчерашнего, из другой, уже прожитой им жизни. Взрослого, чуждого и тяжелого, почти давящего.

Это все она представила себе быстро-быстро, без углубления в детали. Машина летела, горячий ветер бил в лицо, лысина Прохорова безвольно колебалась, Конкин был весь тугая пружина. Нет, он был ничего, то есть ничего этого не было видно. Она, однако, боялась, что пружина, вдруг распрямившись, больно заденет и ее. Что же тогда заставило ее поехать не домой, а на загородное озеро? Отвечать было некогда и некому. Смешно было отвечать, оправдываться, защищаться, обосновывать свое такое естественное право быть самой собой, нравиться мужчинам, влюбляться и предвкушать, что из этого получится.

Машина метнулась вправо, на бетонный мост. Поток заблестел внизу, и после поворота налево началась цепь озер с лодками, грибочками и легкими навесами на пологом берегу. Гравий и песок пошли на нужды города, выемки заполнила вода, территорию вокруг слегка пригладили. Купайтесь, загорайте, господа ташкентцы! Отдыхайте, граждане! Балдейте на ярком солнышке! Вбирайте, выпивайте его в себя, зимой всего этого не будет! Машина встала, Прохоров сразу очнулся, встрепенулся, потащил портфель на пляж. Постелил на песке полиэтиленовую скатерть, достал пять бутылок сухого вина марки «хосилот», двухлетняя выдержка которого подтверждалась этикеткой, а также хлеб, сыр, колбасу, редиску. Сказал Ирине Ивановне: «Извини, мать, за бедность – все на ходу, все слету». Достал шахматные часы и шахматы. И он, и шеф были ярыми почитателями

блиц-партий, или пятиминутки. Расставив фигурки, он почтительно обратился к шефу: «Садитесь и получите по ушам». Шеф ответил: «Как я сейчас тебя побрею! На каком поле тебя заматовать?» И пустил часы. «Сейчас! – приговаривал шеф. – Сейчас – сейчас – сейчас – сейчас!»

На доске бушевали ураганы, все стремительно менялось. И для этих двоих мир в одно мгновение сократился до размеров шахматной доски. Это был только их мир, Ирина Ивановна в него не входила. «Мальчишки! – подумала она. – Взрослые, но совсем мальчишки. Им сейчас совсем мало лет!» Нарезала хлеб, колбасу, сыр. Освободила от ботвы и от хвостиков корней редиску. Налила в стаканы вино, подала играющим. Они заметили стаканы и машинально опорожнили, с ней не чокнулись и темпа игры не замедлили. Она пододвинула им колбасу, и они стали есть колбасу. Геннадий Емельянович съел подряд шесть кружков, думая, что есть первый. «Они ничего не видят! – опять удивилась она. – Доска, и ничего больше. Вот увлеклись! А как же я? Они и меня не видят! Меня сейчас нет рядом с ними! Это уже ни в какие ворота!» - Налила им еще, они снова выпили, а на дающую руку, такую красивую, внимания не обратили. Забавные взрослые мальчишки, увлеченные соперничеством за шахматной доской.

Геннадий Емельянович повел в счете, шеф отыгрался. Геннадий Емельянович усилил натиск. Олег Федорович проявил изобретательность и не поддался.

- Вы умный, как химик, - сказал Геннадий Емельянович шефу.

- Как я тебя брею! – отвечал на это Олег Федорович. – Сдаться ты можешь прямо сейчас. Начнем новую, и ты поправишь дела.

Она же в этом не понимала ничего.

- Я сюда не пошел! – вдруг крикнул Геннадий Емельянович.

- Пошел, пошел. И на часы нажал. Пошел-нажал, нажал-пошел! Обратные ходы берет только хлюзда!

- Я сюда не пошел!

- Обратные ходы! Обратные ходы! Хлюзда ты!

- А вы? И вы! Вы тоже! Вы всегда! О, время, время! – другим, победным тоном возвестил Геннадий Емельянович. У Олега Федоровича упал флажок. Поднятый Прохоровым базар достиг цели. – По ушам, по ушам схлопотали! Три – один! Три – один!

«Какие они мальчишки!» – опять подумала Ирина Ивановна. Разделась в кабинке, вошла в воду. Они и тут не обратили внимания на пропорции ее тела. Ну, ну! Она поплыла. Зеленоватая, в меру прохладная вода приятно обволакивала. Вот оно, лето! Она поплавала, радуясь теплу. Она плавала, как хотела, резвилась, удалялась от берега, ей было вольготно-вольготно. Вода была ее стихия. Теперь они увидели ее.

- Русалка! – сказал Олег Федорович и быстро нажал на часы.

- Наяда! – Геннадий Емельянович нажал на часы молниеносно, хотя в правильности сделанного хода уверен не был.

- Брижжит Бордо!

- Джина Лолобриджида!

- Мерелин Монро!

- Софи Лорен!

- Баба!

- Баба!

- Баба – баба – баба – баба! – проскандировал Геннадий Емельянович. Он словно подвел итог, найдя самое емкое определение женского начала в природе. Словотворчество на любимую тему прекратилось. Конкин сравнял счет и сказал разочарованному Геннадию Емельяновичу:

- Давай, засадим. Опять у нас с тобой ничья и победила дружба.

Солнце село, сумерки сгушались, пора было закругляться.

- За тебя, мать, - сказал Геннадий Емельянович Ирине и выпил. Она тоже выпила с ними. Вино было приятное, и на душе стало теплее. Мужчины вдруг засобирались. А было самое время поплавать.

- А ну, в воду! – скомандовала она. – Вы для чего сюда пожаловали? Могли бы и не приезжать на этот бережок. Нажимали бы на свою стучолку в конторе, партий на десять сыграли бы больше.

Они покорно полезли в воду, полнеющий, рыхлеющий Геннадий Емельянович и нескладный, худой, длиннорукий и длинноногий Олег Федорович. Прохоров плавал отлично и сразу устремился на середину. Конкин побарахтался у берега, быстро утомился и вышел обсыхать. Загорать уже было поздно. «Какой несурзанный!» - подумала про него Ирина Ивановна. Еще она подумала, что он, наверное, легко раним и нуждается в защите. А он схватил ее за руку и поволок к воде. Они плашмя упали в воду, она повлекла его на глубину. Он глотнул воды, глубины испугался и разжал руку.

- Правильно! – сказал Геннадий Емельянович. – Ей со мной плавать надо, не с вами. Хотите, потренирую? В рабочее время и за персональную квартальную премию – всегда пожалуйста!

Солнце упало за город и теперь процеживалось сквозь здания и деревья, розовое, неяркое. Мужчины второпях сыграли еще одну партию. Все выпили и съели подчистую. Пора было и разбежаться. Поехали по домам. Геннадий Емельянович сошел на развилке у памятника Пушкину. «Мать, ты не позволяй шефу ничего такого, блюди себя для меня!» – напутствовал он Ирину Ивановну. Машина помчалась по улице Высоковольной.

- Кланяйся старикам! – сказал Олег Федорович Ирине. Он не был у нее дома, но помнил про стариков. «Ненавязчив, но настойчив!» – подумала она. Улыбнулась чему-то своему, подала руку и вышла.

5

Была суббота, одна из редких не рабочих суббот в управлении. Мать готовила обед, отец прилетел из Москвы ночным рейсом и сейчас отдыхал. У отца была встреча с однополчанами. Он прошел войну в составе шестьдесят второй краснознаменной Никопольской ордена Богдана Хмельницкого инженерно-саперной бригады. Ирина помнила полное наименование этого соединения. Из трех тысяч первоначального личного состава бригады благополучно прошагало по дорогам войны триста семьдесят воинов, и отец был в их числе. Он видел смерть всякую, героическую и малодушную, и неожиданную, когда человек улыбается, рассказывая забавное, и тут по его душу прилетают пуля или снаряд, и улыбку гасит белая пелена небытия. Легко, все-таки, отец на подъем. Списался, созвонился, растормошил однополчан, и вот через тридцать лет после великой Победы ветераны вновь сдвинули стаканы со ста граммами, теперь уже не фронтовыми.

«Фронтовое братство живо, мы по-прежнему вместе», - сказал отец в аэропорту (она встречала его, встала в шесть). Для него это значило очень многое, для нее было важно только то, что отец, понимавший ее лучше всех на свете, счастлив и живет полнокровной жизнью, что у него славные друзья, славная работа архитектора с широчайшим полем деятельности и в шестьдесят – защищенная докторская диссертация. Пример для подражания. Скорее бы он проснулся, подумала она. И рассказал подробности.

Ирина Ивановна сидела в своей комнате и не знала, что предпринять. Тосковала, витала в облаках. Кино, театр, эстрада – все это было доступно, но сегодня не вдохновляло. Если бы ее пригласили безразлично куда: на вечеринку в веселую компанию, в парк ли на танцы! Впрочем, Олег Федорович вчера недвусмысленно обратился к ней: «Организуем что-нибудь военное?» Она смутилась, но ответила быстро: «В другой раз, сначала я присмотрюсь к вам». Прямо так ляпнула, не подумала, что так нельзя. И сразу пожалела. Это была уступка, он и воспринял это, как сокращение дистанции. Значит, «если бы ее пригласили» - это еще не все. Безразлично, кто пригласит, и безразличны другие сопутствующие обстоятельства.

«Мне двадцать три, а я одна, у меня никого нет. Я не энергична в обустройстве своей личной жизни, - сказала она себе, - я не завоеватель в юбке, и у меня никого нет». Еще не поздно, но уже и не рано, две трети ее институтских подруг обзавелась мужьями. Некоторые из них были весьма напористы, добиваясь своего. Тоска захлестывала ее, мятежная, но не безысходная, не угрюмая. Было беспокойно, словно она не выполнила то, что обещала. Она вспомнила первое свое школьное беспокойство. Седьмой класс, повышенная возбудимость, он был такой необыкновенный, это сейчас он как все. Кстати, почему человек одно время может быть лучше всех, может заслонять собой всех, абсолютно ничего для этого не предпринимая, а потом быстро бледнеет и становится, как все? От него это зависит, или от того, как его воспринимают?

Тогда он безраздельно властвовал в ее воображении. Сейчас же он бесследно растворился в необозримом человеческом море. Тогда же она могла не смотреть на него, сидящего за соседней партой, могла повернуться к нему спиной, но ясно слышала каждое вполголоса сказанное им слово, и знала каждую минуту, что он делает, и знала даже, что он собирается сделать или сказать. И вот такой человек сейчас, как все, она его придумала, наделила необыкновенными свойствами и способностями. Александр Коломейцев, блондин и футболист. Ее он так и не разглядел. Он, правда, и других не баловал вниманием, ревновать его было не к кому, разве что к футбольному полю, которое он обожал. Но ее-то, мечтающую о нем, тянущуюся к нему, он должен был разглядеть. Ладно. Этот ее мальчик, эта ее ранняя мечта теперь далекое прошлое. Эфемерное прошлое. И то ли она еще придумывала себе потом! А жить нужно сегодняшним днем.

«Одинока!» – с горечью повторила она. Это чувство приходило к ней часто, но не на работе и не в часы занятости домашними делами. Оно приходило вечерами вместе с мечтами, вместе с ожиданием чего-то неожиданного и яркого, что могло решительно преобразить ее жизнь. Оно приходило и не спешило уйти. Так приходит в гости хороший знакомый, которого, правда, не ждали, но который всегда свой и желанен. Иногда, движимая этим чувством, она вдруг празднично одевалась и шла в парк или на людный бульвар в центре города, в надежде на счастливое что-то. Ей встречалось много молодых людей, и некоторые были вполне хороши, а немногие были очень хороши, так хороши, что у нее начинала кружиться голова. Вот среди них были такие, кто мог сказать: «Послушайте, девушка, выходите за меня замуж!» Она ни минуты бы не колебалась и знала, что была бы счастлива и что человек, выделивший и избравший ее таким неожиданным и сверхбыстрым способом, тоже был бы счастлив и всегда помнил бы о минуте, которая их соединила. Гром и молния! – такой мгновенной, по всплеску страстей, была бы эта минута.

Одно время это даже была ее мечта, неотступная и сильная. Чтобы какой-нибудь умный и симпатичный молодой человек остановил ее прямо на улице и позвал за собой. «Вот он, - думала она, - он это сделает непременно, у него хватит для этого фантазии и решимости». Но он проходил мимо, не устаивая ее улыбкой, не оглядываясь. Она медленно гасла, чтобы вскоре загореться снова. Признаться, что эта ее мечта утопична и недостижима, призрачна и эфемерна, - признаться в этом означало бы зачеркнуть что-то очень яркое и сильное в себе, означало бы вдруг стать беднее, много беднее и много старше, и она не могла позволить себе этого. Она ждала, она жила своими предчувствиями. Они грели ее душу.

Эта мечта так и не принесла ей удачи. Но у нее появился Аркадий. Блестящий парень, самостоятельный, нацеленный на успех. Аспирант, научным руководителем которого был ее отец. Она влюбилась по уши и жила предстоящим замужеством. Даже учиться стала спустя рукава. О, он умел подать себя, сказать речь, постелить мягко, умел вязать красивые, обволакивающие слова, когда они оставались наедине. Все правда, ее любят, верила она и была совершенно счастлива. Он долго ее не уговаривал. Все произошло само, воздушный шарик стремительно взмыл ввысь, где и лопнул совсем неожиданно, издав негромкий и неприятный пшик. Произошло быстрое и горькое возвращение на круги своя. Теперь это было ее позором. Недавно он женился. Но он расстался с ней тогда же, через месяц после того, как добился своего. Страшная истина: он не любит, не любит, не любит, - казалась ей концом света. Какое-то время она была, как невменяемая. Потом день снова занял место дня, а ночь – место ночи. Жить снова стало можно. Жить стало можно и после того, что с нею случилось. От этого не умирают, хотя мечтала она совсем о другом. Но она уже была другим человеком. Она знала, что теперь она другая. Другая – это и взрослая, и знающая цену ласковым, обволакивающим словам, за которыми пустота, знающая: не все золото, что блестит. Другая, - это и удивление: разве можно обманывать, лгать? Разве можно обещать то, чего нет и быть не может? Одно осталось от пылкой, романтической юности: она продолжала ждать и верить.

Куда пойти, подумала она. Что делать и куда пойти. Куда себя деть. Или куда от себя спрятаться? Последнее было ближе к истине. Ей очень хотелось спрятаться от себя на этот бесконечно длинный субботний вечер. В обычные дни все обстояло иначе. Была работа, и были домашние небольшие заботы, книги и телевизор, и ласковый отец, и внимательная мать, заполнявшие короткий досуг. Она слишком уставала днем, и неудовлетворенность уже не могла к ней подступиться. В нерабочую же субботу и воскресенье все обстояло иначе. Уже к двум она делала все, что нужно, по дому. До четырех читала, но как-то вяло, по привычке и без интригующего интереса к судьбе героя. А потом приходило и наваливалось это. Оно приходило еще утром, но до поры до времени словно терпеливо стояло за дверью, дожидаясь своего часа. И час этот наступал непременно, обязательно. Она оставалась наедине с тоской и глухой, горькой, давящей неудовлетворенностью. Одиночество простиралось вокруг, необъятное и глубокое, как море. Она плыла по нему к неведомому берегу, вскарабкивалась на крутые валы и срывалась в пучину. Не знала, долго ли еще плыть, и не знала, что будет, когда долгожданный берег, наконец, откроется, - ее ли это берег, и будет ли ей на нем лучше. Лучше могло и не быть, вот ведь как. Берег мог оказаться голым-голым. Она все еще чувствовала себя беззащитной перед новыми разновидностями Аркадиев, которых, оказывается, белый свет воспроизводит отнюдь не в единичных экземплярах.

Самым тяжелым в такой вечер было то, что она знала: к ней никто не придет, возможно, никто и не вспомнит о ней. Сознать это было очень больно. Она оглядела себя в зеркало. Зеркало не могло ответить на мучающее ее: «Почему?» Все было в норме – фигура, лицо, прическа, костюм. Черты интеллигентности глубоки, но не броски, не навязчивы. Все, что она видела в зеркале, глядя на свое отражение, было хорошо или очень хорошо. Она знала, что не ошибается, не обманывается на сей счет. И, тем не менее, к ней никто не придет, никто не будет ждать ее в городе. Человечество огромно, но из всей этой огромности желанен почему-то один человек, тот, которого любишь. Желанен и дорог. Мечтали ли о ней, как о цветке неповторимом? Или только как о цветке, который хорошо бы сорвать? Она допускала, а порой даже и хотела и такой мысли о себе. Пусть и о ней думают с вожделием, она умеет любить и хочет быть любимой. Да, она умеет, хочет, ждет, но она будет одна и сегодня, и четыре стены будут давить и давить на нее, пока не сомкнутся. И пол сомкнется с потолком. А где же останется место для нее? Одна. Одна-одинешенька, и двадцать три года за плечами. Сознать это было страшно. Пойти в парк? Глупо, безнадежно. И потом...

Она не стала углубляться в это. Картины, которые могло нарисовать воображение, были бы все хороши, все замечательны, но после них почему-то начинала болеть голова. Не надо.

- Ирик! – позвал отец. – Ты загрузила, чижик? Иди сюда. Что нам покажет сегодня товарищ голубой экран? Где наша программа?

Отец всегда чуток и проницателен. Но сейчас и это не лекарство. Лучше бы он не подмечал так тонко ее настроение. «После «Клуба кинопутешествий» – футбол!» – объявляет она бодро и громко. Родителям не должно быть неуютно от того, что ей плохо. Ее беды и тревоги, - это ее заботы. И ты, милый папа, и ты, дорогая мама, здесь не помощники, участие еще не помощь, а в любом участии присутствует напоминание об ее болячках. Потом, человек что-то очень свое, очень личное должен нести сам, только сам, всегда сам. Если, конечно, он не потерял скромности. Да, надо выпрямиться под ношей и идти. Своя ноша не может быть тяжела настолько, чтобы

под ней не выпрямиться. Надо любить свою ношу, какой бы она ни была. «Я опять наставляю себя», - подумала она. Это была чисто старушечья черта, и она не хотела ее присутствия.

- Началось! – позвал отец. – Африка, город Дакар. Какой симпатичный белый город!

- Папа, я читаю, - соврала она. Но потом пришла и встала за его спиной. Он понимал ее лучше всех, матери не удавалось столь часто улавливать нюансы ее настроения. Но иногда ей хотелось, чтобы он был черствее. Иногда ее мучила эта его всепроникающая тонкость. Лучше бы он меньше видел и понимал.

То, что ей сейчас плохо, это, в сущности, хорошо, решила она. Это ожидание, и продлится оно может долго. Это грусть, а она уходит только вместе с человеком. Это стремление к идеалу, детское и стойкое – светлое пятно впереди, поляна с ромашками в лесу. И хорошо, что все это у нее есть. Иначе жизнь утратила бы свою прелесть, и рядом с ней остались бы одни серые краски.

Она опять вспомнила день, когда рассталась с любимым человеком. Слова, которые были сказаны им и ею. Слова, которые она должна, обязана была сказать, но не сказала, пожалела его самолюбие. И правильно, что она их не сказала. Аркадий Антонов, аспирант, а теперь и кандидат архитектуры. Она любила его два институтских года, пока он был аспирантом ее отца. Эти два года она мечтала о замужестве, которое он откладывал сначала до защиты диссертации, потом до прохождения диссертации в высшей аттестационной комиссии, потом... Но когда она любила его, она жила полной жизнью. Свидания, прогулки по районам новостроек и паркам, театры, кафе. Квартира его друга – единственное, что она не могла себе простить. Аркадий женился на женщине старше его (Ирина Ивановна была семью годами моложе). Ее счастливая (счастливая ли?) соперница была дочерью директора проектного института, куда он собирался перевестись после защиты кандидатской. Расчистил себе путь наверх. Все это было объяснимо, но и очень приземлено. «Не приземлено, а гадко», - поправила она себя и поежилась, как от соприкосновения с чем-то очень скользким.

Была ли она слепа или жила в воображаемом, придуманном мире? Многое тогда в ее жизни рассыпалось в прах, чувства замерзли в ней и не хотели оттаивать. И она отогревалась медленно и долго, но так и не отогрелась до конца, и шаловливая девочка притихла в ней, словно за портьеру спряталась, а воцарилась женщина степенная, мудрая, знающая бесконечно много и о себе, и о тех, кто с нею рядом. Знающая все, что должны знать о себе люди. Аркадий Антонов, пенкосниматель и карьерист. Адик и Арик. Она звала его то тем, то другим именем, шая, а ему было все равно, он в это время прокладывал новый фарватер, рассчитывал новый курс. Трезво так рассчитывал, с логарифмической линейкой в руке. Не просчитался ли? Узнать это все еще было интересно. Но зачем, да и с какой стати ей опять окунается в это? Она не заслужила и десятой части мук, выпавших на ее долю. И, кто знает, она могла не вынести удара, если бы не отец, не его постоянное, неназойливое присутствие рядом, не его старание исцелить рану. В сущности, он спас ее от непоправимого. Она удивилась, когда много позже пришла к такому выводу, но правда есть правда, и знать ее необходимо. Да, ошибки хороши только одним, – они позволяют извлекать уроки. Стала ли она мудрее? Умнее и старше – да, это она видела. А мудрее? Это покажет завтрашний день, самое интересное в котором – его долгожданность.

«Людей согревают только люди», - подумала она. Человек должен кого-то любить, тогда и ему тепло, тогда и у него крылья, на которые так приятно опираться. И, возможно, тепло тому человеку, которого любят. Но даже если этого нет, человеку лучше, когда он любит. Человек должен любить, человеку нехорошо, когда он один и когда все его устремления замкнуты на нем одном.

6

Василий Павлович Соколов вывел свой «Ковровец» из гаражика, размерами не сильно превосходившего мотоцикл. Двигатель завелся сразу, «по первой просьбе», как он любил говорить. Василий включил скорость и плавно отпустил рычаг сцепления. Он любил мотоцикл, любил теплый ветер в лицо, любил метаморфозу: для него, пешего, все было далеко, для него же, владельца стального коня, все было близко, даже Самарканд и Иссик-Куль. Несмотря на то, что сестра Альбина грозилась созвать вечером теплую компашку и позвенеть гитарой, и его присутствие было обязательным (Лора придет), он уезжал и не знал точно, когда вернется. У него было деловое свидание, и он оделся соответственно (после одной поездки – стирать и гладить). И теперь мчался, как он считал, навстречу своей судьбе. Он загорелся, подряд не выходил у него из головы. Он был такой: задумано – сделано, и компромиссы ему были не нужны, на компромиссы пусть идут большие начальники. Замышляя это дело, он целиком полагался на бригаду. Действительно, ребята его поддержали, но раздались и отдельные скептические голоса: «Гипертонию схлопочешь, Вася!» - «Жди меня, и я вернусь, Вася! Только очень жди!»

Вся прелесть заключалась в том, что его скептики не были оппонентами. Но, хотя бригада высказалась «за» (чем черт не шутит, а порядка, считали они, при подряде будет больше, и зарплата повысится), Василий знал, что в хождениях по инстанциям и во всем том, что называют организационной стороной дела, ребята ему не помощники. Ибо им неясен механизм, лежащий в основе подряда. Они не ходоки, да этим сейчас ничего не добьешься. А он? Он будет ходить, доказывать, добиваться, даже если это мало к чему приведет.

Сейчас он мчался по горячим улицам города; его влекло предвкушение близкой схватки. Когда он доложил суть предложения Конкину, Ирина Ивановна одна поддержала его. Значит, и дальше поддержит. Невлиятельный, но союзник. Невелика гиря, но в его чаше весов. Он намеревался вывести Ирину на трестовское начальство. Передаточное звено, подумал он. Девчонка, а напориста и драчлива. Такая может дойти и до министра, умеет открывать двери. Смешная! Отец, говорит, у меня строитель. Он, говорит, учил меня обращаться за помощью к тому должностному лицу, которое в состоянии повлиять на ход дела. Вот, пусть и обращается. Отец у нее никакой не строитель. Архитектор, книжник, кабинетник, рисовальщик. Рисовать тоже надо умеючи, тут свои сложности, но одно дело нарисовать, и совсем другое – построить. Ирина Ивановна – задавала. Все: «Отец, отец!» Выше для нее нет авторитета. И у него отец в авторитете. Паркетчик, каких поискать. Краснодеревщик. В войну насмотрелся смерти в лицо, хотя захватил самый ее победный краешек. Но он своим отцом не хвалился направо и налево. Женщины, понятно, эмоциональнее.

На массиве Высоковольный он немного поплутал, разыскивая нужный дом (адрес ему сказали в отделе кадров). Кнопку звонка втопил не сразу. «Ну, и затея!» – вдруг подумал он. Непонятная робость сковывала. Но изначальное упрямство характера взяло вверх. Он долго вынашивал свою идею. Если можно где-то, значит, можно и здесь. Периферия – миф. Расхлябанность, неверность слову, наезженная колея – вот истинные враги подряда. И Олег Федорович этого не скрывал, прямо сказал, какие палки будут вставлять им в колеса, и кто именно это сделает.

Он хотел, чтобы дверь открыла она, и она открыла ему.

- Вы? – удивление отразилось на ее грустном лице. Но удивление пропало, уступив место радушию. – Пожалуйста, проходите!

- Извините, - сказал он заготовленные слова. – Я на минутку, я по делу и сразу уйду.

Она приняла у него шлем, жестом пригласила в гостиную, сказала: «Можно и не на минутку, сейчас футбол начнется. Наш «Пахтакор» принимает московское «Торпедо». Если это вам интересно.

Из кухни вышла мать, сияя улыбкой, из своего кабинета – отец. «Знакомьтесь! – сказала Ирина. – Мои родители Нина Николаевна и Иван Сергеевич».

- Очень приятно, - сказал Василий и назвал себя. И вдруг, словно вспомнив что-то, забытое очень давно, нагнулся и поцеловал руку матери Ирины. Это вышло достаточно неуклюже, но очень непосредственно и мило. Мать такого джентльменского внимания к своей особе совершенно не ожидала.

- Мы вас знаем, - сказал Иван Сергеевич. – Вы лучший бригадир у Ирика. Садитесь, в ногах правды нет. Гостем будете. Мы рады вас видеть.

- Я тоже вас знаю, и тоже от Ирины Ивановны, - сказал Соколов. «Мой папа» – это каменная стена, высший авторитет. Она произносит «Мой папа» с такой гордостью, что сразу видно: она горой стоит за вас, а вы – за нее.

Он, однако, подумал, что представлял ее отца холемым, степенным и обязательно крупнотелым, раскормленным мужчиной. А перед ним был сидящий, подвижный, невысокого роста человек, отнюдь не раскормленный (спортивной, правда, его фигуру тоже нельзя было назвать). И мать была под стать отцу, вся внимание и приветливость, улыбка и гостеприимство. Еще он подумал, что в его семье незнакомых так не встречают, в его семье к незнакомым равнодушны. Мать, например, даже не вышла бы из своей комнаты. И уюта в его квартире такого нет, и мебель не та, хотя и он зарабатывает прилично, и отец, краснодеревщик, каких мало, получает наравне с доктором наук и мог бы постараться для дома. Ведь творил он на заказ такое, что глаз было не отвести. Нет, в его семье незваных гостей не жаловали. И он считал, что это в порядке вещей. Привык, значит.

- Если вы по делу, начнем с вашего дела, - напомнила Ирина Ивановна.

- Неправильно, непорядок! Начнем с чая! – Иван Сергеевич всплеснул руками, протестуя. – Чай в нашем крае делу не помеха. Его можно пить сколько угодно и еще столько. Ниночка, организуй нам чай, пожалуйста. Зеленого и черного завари, а мы выберем, что кому по нраву.

«А он говорит!» – подумал Василий.

- Папа был в Москве на встрече ветеранов, - сказала Ирина. – Утром прилетел.

- Ирик, не разглашай военную тайну.

- Дело мое для нашей строительной конторы непривычное, - сказал Василий. – Хочу взять подряд на новый объект. А начальник управления зажег красный свет.хлопотно, не потянем, носы расшибем – вот его ответ. Такой ответ мне не понравился.

- Силен, бродяга! Верит пословице: «Не было у бабы хлопот, да купила поросенка», - сказал Иван Сергеевич. – Ирик, а ты какого мнения о своем начальнике?

- Папа, он хороший.

Отец задержал на ней взгляд, пытаясь мгновенно разложить на составные части это очень емкое в устах женщины слово «хороший». В нем могли содержаться оттенки, для стороннего слуха не предназначенные.

- Ирина Ивановна меня поддержала, и я прошу ее нового содействия. – Соколов кратко изложил ситуацию, Ирина образно ее прокомментировала.

- Папа, помоги составить план действий! – попросила она.
- Единица – ноль, - сказал Иван Сергеевич. – Это вы должны помнить со школьной скамьи. Я не специалист по организации труда на строительных площадках и, в частности, по подряду, потому мой совет не будет оригинальным. Ищите сильных союзников. Единомышленники у вас должны быть, мне даже показалось, что ваши прораб и начальник управления не противники ваши, а потенциальные союзники. Просто они знают, что такое новые хлопоты. И боятся, что эти хлопоты себя не оправдают. А вы идите дальше. В трест, к управляющему. И еще дальше идите.

- Папчик, прыгунов в высоту у нас не любят.
- Прости, не понял.
- У нас не жалуют тех, кто через голову своего прямого начальства обращается в следующие инстанции. У нас таких очень не уважают.

- Врите, врите, бесенята! Заинтересуйте нужных людей, и подряд ваш.
«Он приглядывается ко мне», - подумал Василий. Отпил из тонкой, почти прозрачной чашки крепкий, со знанием дела заваренный индийский чай. Подумал, что у него дома пьют из граненых стаканов, и очень часто – не чай. И никто не старается вникнуть в дела и заботы другого. Это идет от матери, от ее апатии ко всему и вся. Отец тоже в лучшем случае сказал бы: «Чудачествуешь, парень. Об этом пусть у начальства головка болит». Дома не считают его способным на что-то большое. Рабочий, ну, и вкалывай, зарабатывай, не строй из себя человека с портфелем.

- Я слышал, - вкрадчиво так сказал Соколов, - что наш управляющий трестом Иноятов на хорошем счету. Раз так, он кандидат на выдвижение. Ему наша идея может помочь.

- Она может привлечь к нему внимание более высокого начальства, – обрадовалась Ирина Ивановна. – А вы дипломат, тонко рассчитали: Иноятову нужен багаж повесомее. Число подрядных бригад – это сегодня важный показатель. У консерваторов, например, совсем нет таких бригад.

- Знаю Иноятова! – сказал Иван Сергеевич. – Деловой товарищ. В его тресте есть толковые начинания. Уверен, что он ваш союзник.

По этой логике, подумал Соколов, не мечтай Иноятов о следующей ступеньке в карьере, не быть ему сторонником подряда. Он, значит, для управляющего трестом – ступенька. Интересно складывались обстоятельства. Любопытно. Зато без Иноятова, как удачно подметил Иван Сергеевич, он – единица, то есть ноль.

- Я пойду к нему в понедельник, - сказала Ирина Ивановна.

Соколов удовлетворенно кивнул, и Иван Сергеевич тоже удовлетворенно кивнул. Женщины проворно сервировали стол. Телевидение начало транслировать футбол. «Пахтакор» атаковал, его нападающий Берадор Абдураимов раздваивался на правом фланге, запутывая защиту. Берадор бежал в одну сторону, Абдураимов – в другую, они обтекали защитника с двух сторон и снова соединились в одного человека, мяча не было видно, защитник стоял на месте, разинув рот. Оторопь брала, как ловко обходил защитников «Торпедо» вездесущий Абдураимов. Оборона «Торпедо» трещала. Игра складывалась интересно для хозяев поля. Стадион гудел, как штормовое море.

- Может быть, мужчины выпьют? – спросила Нина Николаевна.

- Спасибо, я за рулем, - сказал Василий.

- Я всегда боюсь за мотоциклистов.

- Разрешите мне откланяться, я ведь по делу, - деликатно попросил гость. Слово «откланяться» он, вероятно, употребил первый раз в жизни, – и как оно пришло ему на ум?

- Ирик, гостю скучно, - сказал Иван Сергеевич. – Но покушать надо. Непременно. Вы нас обидите, дорогой, если не поужинаете с нами.

«У нас дома так не встречают, - опять подумал Василий. – Какой ухоженный, приятный дом! А книг! Две стенки. Зачем им столько? Столько разве прочитаешь? Но, может, так и надо? Книги – к доброте, к широкому кругозору».

Но он видел и другое: в уюте, в любви и уважении, которые царили в этой семье, было много упорства и труда. Такое создавалось не легко, не в один день и при деятельном участии всех членов семьи. Вот тебе и интеллигенты! В его семье интеллигентов добрым словом обычно не поминали.

Он посидел до восьми, а потом поблагодарил хозяев за гостеприимство и поехал. С каким счетом выиграл «Пахтакор», он не запомнил. Эти люди живут красиво, думал он, возвращаясь в свой неуютный дом. Они живут красиво, потому что живут друг для друга. Забота и внимание здесь взаимны. Эти люди приветливы и добры друг к другу, а на работе приветливы и добры с сослуживцами и не стараются переложить на близкого свою часть ноши. Их часть ноши всегда при них, и они не против, чтобы она увеличивалась. Такие люди ему нравились, они были предсказуемы и обязательны, и с ними было легко. И было хорошо во всех отношениях иметь их союзниками.

Но не одно это волновало и трогало его сейчас.

Мать сидела во дворе на скамеечке под прохладной сенью кленов, в окружении чистеньких, благостных стариков и старушек, в окружении их тихого щебета. «Опять она здесь! – с глухим раздражением подумал Василий. – Выспалась днем, сударыня! Правильно Валя говорит: у нее нет дома. У нее дома все сделано, только не ее руками. У нее нет семьи, а есть любимая скамейка во дворе, которая никогда не пустует». Впрочем, другой он мать не помнил. У нее душа не лежала к дому, к семье, и потому дружной, спаянной семьи не получилось. Каждый был сначала за себя, а уже потом...

С некоторых пор он воспринимал это особенно болезненно, и потому его так потрясло и укололо благополучие семьи Ирины Ивановны. Он хотел такого отношения родителей к детям и детей к родителям, которое увидел в этой семье и которое было не показным, а укоренившимся прочно, то есть изначальным, естественным, выпестованным давно. По затхлой, замусоренной лестнице поднялся к себе на пятый этаж. Лестница была общая, ее можно было не убирать. Дверь отпер своим ключом.

- Мы заждались! – напустилась на него Альбиночка, младшая шустрая сестренка. – Глотни-ка штрафную и бери гитару. Всегда ты так – игнорируешь коллективные мероприятия!

- Он за индивидуальные, - сказала подруга Альбины Лора. Альбина прожужжала ему все уши, что Лора влюблена в него, и не видеть этого слепота и чванство. Как и Аля, Лора выросла на его глазах. Поди же, вот и расцвела, уже и обнять можно. Девушки вместе учились в школе, вместе, срезавшись на вступительных экзаменах в институт, довольствовались строительным техникумом, вместе готовились к сессии за первый курс, и много чего другого делали вместе. И Лора давно была своим человеком в доме Соколовых. Девушки были не по годам взрослые, и Василия часто брала оторопь, откуда в Альбине эта ранняя циничная, разбитная взрослость. От матери, которая часами восседает на любимой скамеечке?

Был еще друг Альбины, некто Юрий, тоже, кажется, из техникума, но курсом старше, высокий и прыщавый, слегка порозовевший от портвейна и от присутствия Альбины. Он делал Альбине чертежи и вообще старался быть под рукой, и потому Альбина ему покровительствовала. Лору, смотревшую на него задорно, с намеком, Василий демонстративно обнял. «Поцелуемся, соседка?» Не следовало вести себя так вольно, ой, не следовало! Он перед всеми церемонно извинился, снял со стены любимицу-гитару. Потревожил струны, которую надо подтянуть, подтянул, которую надо ослабить, ослабил. Притопнул ногой, сказал сам себе:

- «Опа! Гопа! Америка – Европа!»

Альбина придвинула ему стакан портвейна.

- Отец! – громко крикнул Василий. – Здесь наливают, где же ты? Кончай отшельничать!

Отец вынырнул из лоджии. Оторвался от верстака. «Не шуми, я рядом, я наготове!» Стружка прилипла к его рабочей рубашке. Выпил он с удовольствием; остальное его не интересовало. И он быстренько, бочком сквозь дверную щель просочился в лоджию, к прерванной работе. Вечно он что-то мастерил, и недурные получались вещицы, под старину, сейчас очень модную. Но все оседало где-то на стороне. Павел Герасимович цену за свои поделки брал не высокую, похвала и вовремя поднесенный стаканчик ему тоже нравились, и потому Анастасия Леонтьевна стремилась взять сбыт в свои руки и тут проявляла энергию и упорство, каких нигде больше не выказывала. И сейчас Василий с болью отметил давний домашний уют. При таком отце мебели было в обрез, разностильность, безвкусица. Еще и грязновато, и хламовито. Аля знала, что люди придут, но даже пола тряпкой не протерла. Как можно быть такой ленивой?

- Ты тоже засади! – сказала Альбина.

- Сегодня не хочу.

- Ну, и дурак. Пренебрегаешь?

- Учусь быть трезвенником.

- И что, приятно? Да с твоей рожей тебя, трезвого, всегда посчитают за пьяного.

- Злюка-Алюка, злюка-Алюка! – весело отпарировал он.

- Мы выпили, и нам хорошо. А ты противный-препротивный трезвенник, ты белая ворона в нашей компашке, и мы тебя презираем. Мы прогоним тебя из стаи.

- Меня? Такого большого? Такого сильного? – зарокотал он. Сгреб Альбину в охапку, приподнял на вытянутых руках. – Отшлепаю и гулять не отпущу. В угол поставлю!

- Он не курит и не пьет, а только... - с вызовом продекламировала Лора, бросаясь на вырчку к подруге. Василий обнял и ее. Посмотрел в ясные, синие, равнодушные к нему глаза девушки, давно тосковавшие по этому «только». Посмотрел пристально и с сознанием превосходства. Мгновенно ввел в краску. Спросил: «Что – только? Народу во всем нужна полная ясность!» Лора, пунцовая, как апрельская гвоздика, опустила глаза долу. «Так, так ее и еще, еще!» – наказала Альбина.

- Выпил бы! – сказал Юрий, не настаивая. Альбина уже вертела им. Василий улыбнулся ему. Перевел взгляд на Лору. Девушка смотрела на него нежно, мысль ее витала в завтрашнем дне. «Созрела!» – вспомнил он формулировку Геннадия Емельяновича, своего грозного и справедливого, не позволяющего долго

думать над следующим ходом производителя работ. Он становился хозяином ситуации, ему было любопытно. Лора пересела ближе к нему. Раскрасневшаяся, красивая. Ее ранняя взрослость почему-то не шокировала Василия. Он видел ее броскую красоту: грудь с пикантной ложбинкой, тонкую талию, налитые бедра. За такими бегают. «Ну, ну, - сказал он себе, - еще ничего нет, ты легко остановишься». Сегодня ему хотелось быть сдержанным. Юрий налил в стаканы портвейна, выпил с девушками. Стакан Василия остался полон.

«Повесели душу! – опять попросила брата Альбина. – Ты бессовестно игнорируешь наше общество. Можно подумать, что в твоей строительной конторе работают одни белые вороны».

- Отстань, Аля! – весело сказал он. Подумал: «Емельяныча бы на тебя!» Посмотрел на нее снизу вверх, как взрослый на девочку. – Портвейна вашего я еще не пил!

- Коли не жалуешь любимый напиток трудящихся, разорись на коньяк, прояви щедрость!

- Трудящихся! – нараспев повторил он. – По-моему, здесь я один трудящийся. И я не назвал портвейн своим любимым напитком.

Лора томно смотрела на него, приваживала. Какие они все возбужденные, подумал он. Принявшие на грудь плохо выносят трезвых, факт. Лора всем была хороша, только пьяна немного и вульгарна. И с ослабленными сдерживающими центрами. И вот еще что мешало: он не знал, о чем с ней говорить. Не видел точек соприкосновения. Так же стандартно хороша была Альбина, а Василий не очень-то жаловал сестру. Точнее, не прощал ей раннюю взрослость, безапелляционность в оценках, нахрапистость и многое другое. Вдруг он увидел, что девушки пользуются одной и той же краской для подведения век, одной и той же помадой и пудрой. И прически у них одинаковые. Кто из них кому подражает? Он увидел, что не жалует Альбину еще и за стремление как можно скорее выпорхнуть из родительского дома. Она и сейчас, как гостья, рук ни к чему не приложит. От матушки научилась!

Закусывали хлебом и колбасой. Бедно так закусывали, по-студенчески. Это при их-то достатке. Опять мать поленилась приготовить обед. Поспать днем для нее важнее, а еще важнее посидеть на скамеечке перед домом с такими же, как она, божьими одуванчиками, почесать язычок, пройтись наждачком по отсутствующим. Валентина, значит, работает. Та бы все сделала. Ну, маманя, ну, цветочек незамутненный! На век бы раньше тебе родиться – готовая барыня. «Что, сестренка, так скромно гостей потчуешь? Закрома опустели или ручки приложить лень? Боишься, маникюр с пальчиков твоих сойдет?» – с горечью сказал он. Взял гитару. Казалось, хрупкий этот инструмент не для его крупных рук. Сожмет, сдавит неистово в свободном порыве, и рассыплется гитара, не успев произнести своего заветного слова. Но Василий был гитаристом очень способным. Он легко извлекал мятежные звуки, легко, ненавязчиво прикасался к сокровенному. Не он прикасался, гитара сама на правах хозяйки вторгалась глубоко в душу. Импровизируя, Василий поднимался высоко. И это опять не вязалось с медвежьей его наружностью. В последнее время многое, что он делал, не вязалось с его наружностью – и славно, что не вязалось! Многих это удивляло, и в их взгляде появлялась пристальность.

Он спел, шепелявя и с придыханием, «Ты жива еще, моя старушка!» Отметил привычную завороченность публики. Спел несколько военных песен, – про темную ночь, полную свистящих пуль, про землянку с ее жаркой печуркой и про парней в землянке, которых отделяло от смерти совсем ничего, всего четыре шага, и про синий платочек, подарок любимой. Он и в песню вкладывал душу. Его глуховатый, надтреснутый и шепелявый голос обладал странной вкрадчивостью. Девчата слушали, унесенные гитарой за тридевять земель, в другое, очень сложное, но тоже славное время. А Василий без видимого усилия, в охоточку, как он говорил в таких случаях, пел и пел, превосходно себе аккомпанируя. И всем было необыкновенно хорошо, и ему, трезвому, тоже. Лора была без ума, мальчик Юра причмокивал от удовольствия. Это они и предвкушали. Сидят, витают. По-нынешнему, балдеют или кайфуют. Ну, хитрецы! Кончив очередную песню, Василий объявил: «Танцы!»

Альбина засуетилась у магнитофона. Закрутились прозрачные диски, лакированный ящик выдал твист. Секрет заключался в том, что и сейчас играл на гитаре и пел Василий Соколов. Так же призывно звенели струны, вкрадчиво лились слова. Альбина бережно хранила более десяти катушек, напетых братом. Придумай она, как их растиражировать, она бы озолотилась в какой-нибудь месяц. Но это уже было за чертой, тут начиналось частное предпринимательство, не предусмотренное ни законом, ни строем Альбиной души.

«Дашь, брательник!» – крикнула Альбина и переломилась в твисте. Юрий подскочил к ней, заелозил, приседая на корточки и быстро двигая руками. Было видно, что твист они освоили давно и, возможно, освоили какое-то приложение к твисту. Василий шаркнул ножкой перед Лорой. Высокая и стройная, она казалась миниатюрной и подчеркнута изящной рядом с громоздким, благодушно улыбающимся парнем. Он, однако, тоже знал толк в танцах. Веселье буйное, не терпящее преград и условностей, было ему по нраву, хотя в последнее время он вставлял в эти программы ограничители. Он плавно обхаживал Лору, не сводившую с него преданных глаз. Ритм танца захватил обоих. Казалось, не магнитофон, а он сам вкрадчиво нашептывал девушке в розовое ушко: «Опа! Гопа! Какая ж ты растрепан!»

- Я тебе нравлюсь? – спросила Лора, приблизившись к нему вплотную.

- Нравишься, - спокойно, почти по складам, произнес он. И тут же сказал себе: «Не зарывайся, не надо, это может плохо кончиться».

Она склонила голову ему на плечо. Томная девочка, которой улыбнулся ее мальчик. Каштановые волосы щекотали щеку. Но что-то новое, еще не осознанное до конца, поднялось в нем. «Нет, это совсем не то, я не люблю ее. Тогда зачем же все это? Тогда – нечестно! Тогда я должен перестать!» И присутствовала еще одна мысль: «Я рассуждаю – нашел, когда рассуждать! Глупость это великая – рассуждать сейчас, когда стоит только протянуть руки, и она твоя». Тут он увидел выбившуюся из-под яркого кримпленового платья бретельку лифчика, явно несвежую. «Еще одна неряха и лентяйка в нашей семье!» – подумал он с неожиданной неприязнью. В нем уже искало выхода раздражение, копившееся давно.

- Я тебе очень нравлюсь? – шепнула Лора опять, томно прижимаясь к нему грудью, низом живота, бедрами.

- Нет, - сказал он сверху, издалека. – Так. Сегодня, сейчас. Иногда. Немного. Пустяки. Завтра это пройдет, но ты не расстраивайся.

Ему становилось плохо, он злился на себя. Она отстранилась, глаза ее сверкнули.

- Ну, и дурак! – сказала Лора с неожиданной твердостью. – Слепой дурак!

- Белье на себе менять надо хотя бы изредка, а то совсем заленились! - сказал он. Как раз этого не следовало говорить, он не стремился унижить ее. Но он злился все сильнее, вечер кончался не так, как ему хотелось. Сохранять нейтралитет становилось все труднее. – Ты такая же лентяйка и грязнуля, как Альбина.

Он, все же, заставил себя остановиться. «Зачем? Опомнись, не надо выяснять отношения!» – приказал он себе. Легко причинить человеку боль, а как залечивать? Умение сдерживаться в последние годы счастливо выделяло его. Ему стало стыдно. «Прости!» – сказал он громко. Она уже бежала от него. В коридоре перед зеркалом остановилась. Увидела злополучную бретельку, рванула. Капроновая бретелька не поддалась. Уткнулась лицом в угол, всхлипнула.

- Ну, ну! Умойся, не надо, - сказал он.

- Какой ты не джентльмен!

- От этого и страдаю.

- Врешь! Тебе нравится унижать меня.

- Почему ты такая же, как Алька? Почему вам нравится быть нечесаными, неприкаянными, безрукими? Почему вы не уважаете себя? Ты – человек, так осознай это! Люби и лелей в себе человека! Ты должна выглядеть светло и призывно, и, поверь мне, у тебя все для этого есть!

- Медведь! – бросила брату Альбина.

«Не упустить своего!» – подумал он про идеал Лоры. Все, что было за этим не всегда четко очерченным кругом, ее не интересовало. И Альбину тоже, Аля – ее повторение. Или Лора – повторение Али. Где-то назревали конфликты, случались трагедии и катаклизмы, государства меняли политическую ориентацию, ученые делали преинтересные открытия - все это было страшно далеко и девушек не касалось. Они сели за стол. В бутылке еще оставалось вино. Тихо стало в комнате, благопристойно. Было слышно, как отец работает рубанком.

- Были нравоучения? – громко спросила Альбина. – Кто-то не ответил, что нового во Вьетнаме и каким было последнее слово патриотов?

- Аля! – с болью сказала Лора.

- А чего он придирается? Мы веселимся, а он придирается. Я люблю веселиться, и люблю быть красивой. Наше главное качество – красота и молодость, да, Лора? А он придирается. Вчера он спросил, как я чувствую себя среди людей, в человеческой гуще. Нормально чувствую. Остаюсь сама собой – девочкой, которая никому ничего не должна.

- А все что-то должны тебе, не так ли?

- Хватит вам, ну, чего вы заводитесь на ровном месте? - сказал мальчик Юра.

- Нет, пусть. Пусть получит! Все должны поступать так, чтобы мне было хорошо. Вася, повтори нам еще раз свое любимое, сделай милость: «Человек должен прийти на пустошь и возделывать ее. Если он себя уважает». Сей! Сей разумное, доброе, вечное на своей пустоши, ведь другие до этого почему-то не додумались! Только не утомись преждевременно, увидев, что другие тебя не понимают, более того, поворачиваются к тебе спиной. Но ты утомился. Ты разлюбил других, которые тебя не понимают!

- Аля, мы поссоримся, - строго так сказала Лора. Альбина замолчала. Василий удивился. Он не ожидал, что в этой компании у него объявится защитник.

- Пустошь беспредельна, - сказал он, ни к кому не обращаясь. «Космос тоже пустошь!» – подумал он. Захотелось встать и уйти в ночную тишину. Лора смотрела на него широко раскрытыми глазами. Позвать – и пойдет, все простит в одно мгновение. Он не позвал. Он поднял глаза и с вызовом посмотрел на девушку. Вся она была одно обиженное самолюбие. Ему уже не было тягостно.

- Скучно вы живете! – сказал он. – Я тоже так жил, и мне казалось, что так надо. А теперь вижу – скучно это и мелко. Это пройденный этап, и больше ничего.

- Первооткрыватель праведной жизни! – бросила ему Альбина. – Ему открылся смысл жизни. Теперь он живет не скучно, а мы все дурочки вокруг него, такого правильного!

Пришла Валентина с шестилетней дочерью Танечкой. Незамужняя старшая сестра. Обездоленная, но, несмотря на это, стоящая выше них. «Валька! Твист! Быстро! Ну?» – громко объявил Василий и затормозил, затискал сестру, веселиться совсем не готовую.

- Знаю, любишь, - сказала она, отбиваясь; ей, вымотавшейся за день до рези в глазах, было не до твиста. – Таня, тебе пора спать. Мальчики и девочки, давайте закругляться.

Лора смотрела на Василия из коридора. Ее глаза были полны слез. Он подошел к ней, обнял за плечи. Сказал: «Ну что ты, маленькая! Я сделал тебе бо-бо? Прости, я больше не буду». Сказанное мало к чему его обязывало, но девушке сразу стало легче.

8

На ветке Ташкент – Ходжикент стала ходить электричка, и комфорта прибавилось. В Паргосе электричка высадила ораву молодежи. Вся эта жизнерадостная братия с рюкзаками и гитарами бодро прошагала через поселок, прошла по селеспуску через полноводный канал Бозсу со многими гидростанциями на его пути и стала разбредаться по тропкам, проложенным на зеленых склонах Таваксия. «Ирина Ивановна!» – вдруг подумал Василий об одной тонкой девушке. Девушка оглянулась, и он понял, что обознался. И к лучшему, что обознался. Он стеснялся Ирины Ивановны и тушевался перед ней.

Они миновали неказистый, пахнущий коровами хуторок; тропа стала подниматься, следуя изгибам ручья. Альбина и мальчик Юра поторопились обособиться. Лора, кажется, тоже хотела этого. Василий вдыхал необычный воздух полной грудью. Он давно не видел такого раздольного зеленого ковра, и такой бездонной сини над собой, и таких причудливых скал с дрожащим воздухом над ними. Они шли вперед широким, пружинистым шагом. Мужчины несли баулы с продуктами и байковыми одеялами. За хуторком Альбина сняла кофточку, а Лора – блузку и брюки. Василий подумал, что если бы он любил ее, лучшей девушки ему было не надо. Сейчас он смотрел на нее, и ему казалось, что он отрывает от себя что-то кровное. Почему? Видно, так устроен мужчина. Для него тяжело не взять то, что само идет в руки. Он подумал про это, и подумал о себе со стороны, свысока. Вот, мол, что мне теперь в тебе открылось. Он как бы раздвоился. Пропустил Лору вперед. Смотреть на нее, такую ладную, было приятно.

Через полтора незаметных часа они увидели первый водопад. Ручей низвергался с выпуклого камня, похожего на черный череп. Белая вода пенилась, шум напоминал бег далекого поезда. Еще через полчаса они подошли ко второму водопаду, который был раза в три выше первого. Поток глухо разбивался внизу, деревья и кусты были влажные далеко вокруг.

- Мы расположимся тут, нам и тут красиво! – объявила Альбина. – С меня хватит, я ногу натерла.

- Мы пройдем дальше! – тотчас сказала Лора, не замедлив шага. – Мы подберем вас на обратном пути. Ладно?

«Вот и мы вдвоем!» – подумал Василий. Надо ли, хорошо ли это? Они вскарабкались на уступ, потом повернули направо, прошли вверх по саю, и им открылся третий водопад, самый красивый. Склоны обрывались полукругом, коричневые и серые пласты были дики, мохнаты от прилипшего к ним лишайника и неприступны. Тропа обегала их далеко стороной. Они доверились тропе и вскоре оказались над водопадом, где ручей тек смиренно, словно не имел ничего общего с чудом-водопадом, которым он становился буквально через метр. Здесь, наверху, было так светло и ярко, что приходилось щуриться. «Давай посидим, я устала, - сказала Лора. – Дальше, сам знаешь, ничего интересного!»

Они сели. Он приглядывался к ней. Ему хотелось копнуть глубже, постичь, кто она и что она. Лора, думал он, недалеко ушла от его сестры. Газет она не читала, но выписывала три журнала мод. Лора – повторение Альбины. Они неразлучны, но каждая себе на уме. Лора – женщина, вступающая в жизнь. Все впереди, но расцвет личности затягивается. Так кто же она? Это было ему интересно.

Вот она сидит и ест хлеб с сыром, и запивает бутерброд водой из кружки. Купальный костюмчик из двух полос материи почти ничего не скрывает. Ладная и близкая, совсем не загадочная. «Протяни руку, и она твоя! – подумал он. – И ты уже не вправе будешь полюбить другую, а только ее, потому что она твоя. Как легко и просто. Как не просто!» На него томно действовала ее фигура. Идеальное тело. Или почти идеальное. Лора начинала повелевать в его душе. Вот эти бедра повелевали, и тонкая талия, и пышные длинные волосы, и грудь, которая тоже напоказ. Бретельки лифчика теперь безукоризненно чистые. «Все напоказ, все для меня, - увидел он. – Счастье в кредит, бери и владей. А каким будет выставленный мне счет? Он будет однозначен – общее будущее, она и я на все дальнейшие дарованные нам времена. Мне это надо?»

- Ты знаешь, чем кончилась война во Вьетнаме? – вдруг спросил он. Что-то накатило на него, и он задал этот вопрос, к текущему, как он понимал, моменту не имеющему никакого отношения.

- Уже кончилась? – Удивление прозвучало в девичьем голосе. Война во Вьетнаме была, когда она пошла в первый класс, и война во Вьетнаме была, когда она кончила школу. Война обещала застрять во Вьетнаме на вечные времена. – И кто победил?

Он не сказал, кто победил. Не знает, и не надо. Все это от ее устремлений очень далеко, разве что не на другой планете. И правда, почему не на другой планете? А вот чего он придирается, экзаменует? Со вчерашнего вечера придирается – делать ему больше нечего. Ему интересны мировые проблемы? И на здоровье, погружайся в них хоть с головкой! А она создана для другого, и мужчины, не такие идеалисты, как этот, находят способ напомнить ей, для чего она создана. «Типичная Альбина!» – заключил Василий. Они помолчали. Она ела, он тоже что-то съел, то ли котлету и редиску, то ли хлеб с маслом и колбасой.

- Не молчи, - сказала Лора. – Мне неудобно, когда ты думаешь не обо мне.

- Поговорим! – согласился он. – Я хочу знать о тебе все-все.

- Я девочка! – порывисто сообщила она о себе самое главное и замерла в ожидании похвалы.

Наверное, с детства любила, чтобы ее хвалили.

«Я девочка!» - мысленно воспроизвел он ее торопливый, заискивающий ответ. Он бы никогда не спросил ее об этом. Но пока это было только ее дело. Хотя, конечно, могла наступить минута, когда это много значило бы и для него.

- Извини, - сказал он. – Мне интересно, что ты любишь, о чем думаешь.

- Зачем тебе? Или ты собираешься любить это же? Сомневаюсь. Мне нравится быть красивой. Мне нравится, когда на меня оглядываются. Мне нравится... - она посмотрела на него с сомнением, поймет ли? – Мне нравится, когда меня хочет тот, кто мне нравится! - сказала она с вызовом. – Тебя это, надеюсь, не шокирует?

- Дальше, - попросил он спокойно.

- Я хочу, чтобы у меня все было.

- Ну-ну. Все – это что? Весь земной шар или некоторая его часть? Или только то, что мы называем материальными благами?

- Поясняю для непонятливых: муж, квартира и прочие жизненные удобства. Я не собираюсь жить в нужде и сидеть на мели в ожидании зарплаты.

- Сразу все?

- Желательно сразу, но можно и постепенно.

- А любишь ли ты узнавать новое?

- Про подруг и близких – да.

- Кто с кем живет? – подзадорил он.

- Это самое интересное. Еще я люблю узнавать, где что дают. Потому что все хорошее у нас в большом дефиците.

«Вылитая Аля, - подумал он. – Вторая Аля или первая? Кто из них верховодит? Альбина скучна. Скучна ли Лора? Он не знал этого, мог только предполагать, что да, скучна. Но какое у нее тело! Она влекла его, она обволакивала его собой. Усмирять себя было трудно.

- Что ты умеешь?

- Танцевать, - сказала она сразу.

- Очень важно в семейной жизни.

- Вот ты про что! Об этом не задумывалась. Каждый день стирать и варить борщи и каши не собираюсь. Для кухни, для пеленок, слава Богу, мать пока жива.

- Моя мать, например, ничего этого для Валентины не делала, и для меня с Альбиной делать не собирается. У нее есть любимая скамеечка в садике...

- Она у вас на особый, на западный лад воспитана. Там все старики такие. А моя мать будет рада стараться для меня, для внуков. Она мне все уши про это прожужжала.

- Ну, а если из ее рук мне будет не вкусно?

- Не скажи! Она умеет, а я – нет. Она все делает как надо.

- Ты обед когда-нибудь приготовила?

- Да! И не один раз! – сказала она с досадой. – Это нудно и совсем не интересно.

- А стирала?

- Этой ночью. Чтобы ты не называл больше меня грязнулей. Слезами все отстирала, если хочешь знать правду. Слезы вместо мыла – годится?

У него екнуло близ сердца, но он продолжал: «Твое главное богатство – красота. Но это и твое несчастье. Ибо это, как мне кажется, твое единственное богатство».

- Разве этого мало?

Он пожал плечами и не стал вдаваться в детали. Он не хотел обижать ее снова. Они пошли дальше вверх по ручью. Вскоре Лора убавила шаг. От станции они отошли уже далеко.

- Вот ты, а вот все прочие, - сказал Василий. – Как ты чувствуешь себя среди людей?

- Как? Нормально.

- Как будто ты одна?

- Нет. Я чувствую, что на меня влияют. Но я остаюсь такой, какой мне хочется быть – сама собой. Я остаюсь девочкой, которая никому ничего не должна.

- А другие должны тебе что-нибудь?

- Должны! – подтвердила она запальчиво; она была убеждена в этом. – Им надлежит поступать так, чтобы мне было хорошо.

- Но если им не хочется этого?

- Тогда хотя бы пусть не мешают, не вредят, не заступают дороги.

- Это самое малое, чего тебе нужно от других?

- Представь себе, да.

- Человек должен найти свое поле и посеять свои семена. Если он себя уважает.

- Чего ты все время просвечиваешь меня? Я не в рентгеновском кабинете, а ты не эскулап.

- На тебя приятно смотреть.

- Спасибо, заметил, наконец! Но ведь тебе этого мало. Вбил себе в голову одно смешное. Засеять свое поле... Что ты станешь делать потом, когда твое поле окажется засеянным и сжатым? Все повторишь?

- Мое поле беспредельно. К сожалению или к счастью – это зависит от человека, от его оценки своего поля. Ну, а как ты живешь?

- Скучно, - призналась она. – Особенно когда я дома. С родителями не о чем говорить. Папа у меня водитель троллейбуса, мама продавец. О чем с ними говорить? Смертельно как скучно с ними.

- И всегда было скучно?

- Нет, - сказала она, вспоминая. – Маленькой мне было хорошо, я тогда много чего узнавала. А выросла, и стало скучно.

- Значит, работы и самостоятельности ты ждешь с нетерпением?

- Только самостоятельности, - сказала она. – Работа – это обязанность, повинность и обуза – от и до. Я еще не привязалась ни к одной работе.

- А я бываю счастлив на работе, не дома.

Она пожала плечами. «Я тоже молод, но я другой, и ребята в моей бригаде другие», - подумал он.

От третьего водопада они поднялись вверх по изумрудной пологой ложбинке, усыпанной тюльпанами, другими полевыми цветами, белыми-белыми, желтыми-желтыми, синими-синими. Названий этих цветов они не знали. Неприметная тропа вилась вдоль звонкоголосого ручья. Группами росли березы. Березовые рощи издали были похожи на зеленые ручьи. Их кроны пребывали в вечном движении. У Василия захватило дух от этого яркого цветения, от избытка всего того, о чем постоянно тоскует горожанин – свежего воздуха, зеленых лугов, зеленых рощ, чистой студеной воды. Он останавливался, чтобы вобрать в себя все это и запомнить. А Лора уходила вперед и потом ждала.

Он попробовал думать так, как, наверное, думала сейчас она: «Тут, конечно, хорошо, ну и что? В ресторане тоже хорошо. Там музыка, и на тебя все смотрят». Вокруг было полное безлюдье. Впереди возвышались скальные массивы, голые, испещренные глубокими морщинами. В их расщелинах лежал снег, плотный и грязный. Снег лежал и на одной из близких вершин, но до нее, наверное, идти надо было часа два. Если бы они захотели взойти на нее, они бы не успели к последнему поезду. Вершина притягивала. Столь сильное притяжение горной страны он ощутил впервые. Они вошли в рощу, деревья почти сомкнулись, стало тесно, колючие ветви боярышника пришлось разводить руками. Розовые кусты шиповника источали тонкий аромат. Каждый из них походил на один большой цветок. За рощей открылась полянка. Желто-красные тюльпаны были похожи на детей, которые вдруг обрели свободу.

- Удивительное место! – сказал он.

- А я? – спросила Лора и встала против него на цыпочки. – Ты радуешься всему красивому вокруг, только не мне. Ну, почему ты устроен так противно?

На ней по-прежнему были сатиновые трусики и лифчик. Купальный костюм, от которого так близко к костюму Евы. Сомкнуть руки на ее тонком стане! Это было властное желание.

- Обними меня! Возьми меня! – вдруг сказала она и придвинулась к нему вплотную. Ее огромные, вопрошающие глаза были близко-близко.

- Нет! – сказал он и скрестил руки на груди. – Тогда я должен буду на тебе жениться.

- И женись, за чем остановка? – почти выкрикнула она. – Я разве против?

- Для этого надо, чтобы я полюбил тебя.

- Надо! Все у тебя расписано, все ты знаешь наперед. Надо, так полюби, сделай одолжение!

- Нет. Нет! Это должно само получиться, не по приказу.

Она сникла от его страстно вырвавшегося «Нет!» и сразу стала меньше ростом. Вдруг посмотрела на него в упор. Сказала: «Я бы потом не умоляла: «Женись!» Подумаешь, чистюля!»

- Извини. Ты очень красивая, но ты не для меня.

- Так возьми меня, раз я красивая! Чего ты ждешь?

Ему очень трудно было говорить то, что он говорил ей. Говорил же он, что если он возьмет ее, а потом оставит, это будет нечестно. И если он станет жить с ней без любви, это будет продолжение нечестности. Значит, его «нет» – самое честное. Он, собственно, долго и тяжело шел к тому, что стало его правилом и о чем он теперь, с опозданием, вынужден был говорить этой статной, высоко о себе мнящей, обиженной им девушке. Года четыре назад, до армии, он бы просто протянул руки. И все. Это уже было в его жизни, но ярким воспоминанием почему-то не отложилось. Осталось чувство нанесения зла, сотворения насилия над личностью. Осталось разочарование.

В армии, на Дальнем Востоке, вдали от культурных центров и лицом к лицу с китайской опасностью, природа которой ему была не понятна, он почувствовал себя не только защитником страны, но и человеком, от которого зависит судьба другого человека, неизвестной пока женщины. Об этой незнакомке, которую он полюбит и которая будет любить его, он мечтал долгими ночами, когда казарма погружалась в сон и мечту ничто не заслоняло, не останавливало. Он наделял эту женщину такими прекрасными чертами, что сам же и спрашивал себя: «Да возможно ли такое?» Причем, прекрасные эти черты были почти все внутреннего порядка, внешность почти не играла роли. Толчком же для такой работы мысли, вернее, примером послужила любовь его товарища, командира отделения, парня, как ему вначале казалось, мало чем примечательного. Его девушка писала ему часто-часто, и он читал ее письма вслух – когда его об этом просили.

Потом уже Василий понял, почему этот парень так поступал. Для самоутверждения. Ни у кого из них не было такой девушки, никому не писали таких необыкновенно теплых, щемяще теплых писем. Письма были, как крик души, и писало их любящее и преданное сердце. Любовь жила в каждом слове. В первый раз кто-то засмеялся. Циника одернули, и так строго, что вогнали в краску. Писем этой девушки ждали, и каждый потом испытывал какую-то боль потому, что отвечать этой счастливейшей девушке мог только один человек – их командир отделения. Своих писем он им не читал, это было его право. Он добился не только того, что ему завидовали. Он добился гораздо большего. Солдаты, его друзья, увидели Женщину совсем в новом свете. На эту женщину можно было смотреть только снизу вверх. Тогда же Василий твердо решил быть честным в отношениях с женщинами и ждать ту неизвестную, которая станет для него всем.

Он много чего рассказал Лоре на тюльпановой поляне. Он просил понять его. В ней же говорило только обиженное и уязвленное самолюбие. Она не поняла абсолютно ничего – она ему не внимала. Обратную дорогу и в электричке они молчали, но, странное дело, ему не было тягостно. Ему было легко-легко, как при большой удаче. Он не оступился, не поступил против своего правила, не сделал себе исключение для одного раза. Правда, кто бы его понял? Он не взял то, что само шло ему в руки, и ни мгновения не сожалел об этом. Вот если бы он взял то, что само шло ему в руки, ему бы сейчас было очень не по себе.

А Альбина и мальчик Юра возвращались счастливые, шептались и смеялись безудержно, а одеяло в их сумке хранило зеленые пятна – следы сочной травы.

9

Альбина гоняла твисты, музыка гремела на весь дом. Она гордилась записями, которые достались ей через череду посреднических рук. Лора же пребывала в глухом ненастроении. Сама все испортила, своими руками. Раза два или три она сказала Альбине что-то резкое, на что Аля ответила: «Колешься, цыпочка!» Лора замкнулась. Хорошо Альке, у нее с Юрой все путем, все, как надо. Лора подняла на подругу грустные глаза. Аля была поглощена музыкой. Лора выскользнула в лоджию. Там Павел Герасимович мастерил шифоньерчик. Он отфанеровал плоскости ореховым шпоном, а лак собирался употребить светлый. Лучшие фабрики мира переходили на светлые тона.

- Что у тебя, девонька? – спросил Павел Герасимович.
- Я не помешаю, - сказала Лора. – Можно, я постою, посмотрю?

Павел Герасимович кивнул. «Как кухонный шкафчик?» – спросил он о своем подарке. Навесной этот шкафчик ему удалось сработать красиво, и теперь он ждал похвалы.

- Мама очень довольна. Анастасия Леонтьевна приходила, взяла за него сорок.
- Вон оно как! – сказал Павел Герасимович, мгновенно тускнея. И повторил: «Вон оно как!»

Взять за шкафчик плату в его намерения не входило, но проворная супруга и тут поспела, подсуетилась. «Это она по своему умыслу, это не я», - сказал он, чтобы реабилитировать себя.

- Я знаю, дядя Паша.

Он посмотрел на нее внимательно. Она знает! А что еще она знает? Но увидел он другое.

- Тебе плохо? – полюбопытствовал столяр.
- Плохо. У нас с Васей ничего не слаживается. Я так надеялась!
- Он тебе мил, - заметил Павел Герасимович.
- А я ему не мила.

Ну, дела! А мне казалось, уже близко. Я вот мебель начал вам делать удобную, не то что нынешняя. Заживете, думаю, своим домом, и все, что надо, будет под рукой.

- Мебель сгодится, дядя Паша. Только другая будет в его доме хозяйкой. Отворачивается он от меня. И объясняет, почему отворачивается: не любит!

Павла Герасимовича это известие глубоко не опечалило. Он давно взял за правило сторониться житейских сложностей. А Лора не первая среди первых, есть и другие. Василию, конечно, виднее, кого привести в свой дом, и лично он каких-либо советов и указаний на этот счет давать сыну не собирается.

- Не та я, понимаете? Не такая. Он позавчера очень меня обидел. Грязнуля, говорит! А я как все, и вы видите, что я как все! – Она заплакала. – Прежде он таким не был. Отделяется. Мысли у него всякие. Вижу, в других он местах. Не со мной. Я... я разве плохая? Я и хозяйству обучилась бы быстро. У меня все получается, когда я хочу и стараюсь!

- Дела! – повторил Павел Герасимович. – Жалко. Ты его понимаешь?

- Нет, - призналась Лора.

- Я тоже. А я с ним куда как дольше, чем ты.

- Но вы отец, вы вместе живете.

- Только и всего! А думаем мы все врозь, каждый о своем, и давно уже это.

- Это от супруги вашей. Извините, дядя Паша!

- Днями он о подряде толковал, - замечание в адрес супруги Павел Герасимович оставил без комментариев. - Бригада, говорит, готова взять подряд, а инженеры отнекиваются. Досадно ему от этого, мутрно. Я ему встречный вопрос задаю: «Зачем тебе это? Работай, как всегда, лишней мороки на свои плечи не взваливай». Он опять о своем толкует, а я думаю: «Зачем? Что, ему света прожекторов недостает? Так в нашем доме прожектора никого не освещали». И мы в который уже раз не поняли друг друга.

- И я бы не поняла.

- Это уж точно. Куда тебе! Но ты дома у нас бывай, в себе не замыкайся. Смотришь, все еще образуется, сладится. Все может поменяться!

- Спасибо за доброе слово!

- А тебе спасибо за то, что всем накипевшим поделилась, не постеснялась, душу себе облегчила. Мне ты тоже задала задачу, я над ней подумаю. Скажу Василию, что он не все в тебе увидел, что в тебе есть хорошего. Он многое проглядел!

- Сказать я могу, а вот дойдет ли сказанное? Наверное, у него есть на кого смотреть, - сказала Лора.

Павел Герасимович направил взгляд во двор, на кроны тополей, похожие на зеленые пирамиды. Задумался. Лора или не Лора станет его снохой – это его не волновало. Настанет день, и сын скажет родителям свое слово. Он потер ладонью ладонь и продолжил мастерить свой шифоньерчик. «Хотя бы при мне перестал!» – подумала девушка. Глаза ее вновь наполнили слезы. Ничего ей не ясно, и никто ей не поможет. Потому что никто ее не понимает. Стараясь не помешать, она бочком, на цыпочках прошла в гостиную и дальше, в коридор. Неслышно притворила за собой дверь. Звуки твиста преследовали ее и на лестнице, а после них остался обруч, больно сжимающий голову.

10

У Ирины Ивановны было красивое новое платье из японского шелка, с яркими подсолнечниками на бледно-синем фоне, и ей очень хотелось его надеть, но оно было много выше колен. И, пересиливая себя, наступая, можно сказать, себе на горло, девушка надела строгое розовое платье без декольте и достаточно длинное, чтобы прикрыть колени. Она знала, куда идет. Ей рассказывали были и небылицы о том, сколь энергично трестовское начальство занимается перевоспитанием трестовских легкомысленных девочек, которые позволяли себе щеголять в мини-юбках и в полупрозрачных блузках с нескромными декольте. Никаких мини, никаких открытых коленок и обнаженных бедер. И никаких откровенных декольте. Женские достоинства не должны выставляться напоказ в рабочее время. Выдворенные с позором из кабинетов, девочки плакали в сумрачных коридорах, но, поразмыслив и осушив слезки шелковыми платочками, ехали домой переодеваться.

Первый кабинет, в который вошла Ирина Ивановна, был секретаря партийного комитета Хасана Вахабова. Седеющий подтянутый мужчина в белой финке сидел за добротным столом, направив на себя ублажающую струю вентилятора, читал газету «Правда» и, казалось, ждал, когда зазвонят телефоны, которых на его столе было целых три. Но телефоны почему-то молчали. В столь высокую инстанцию Ирина Ивановна обращалась впервые, и ей было неловко и тревожно: поймут ли, поддержат ли? Неловко ей было и от сознания незначительности той роли, которую в этом деле играла она сама. Проводник, но не генератор.

- Мастер Пеночкина из строительного управления Конкина, - отрекомендовалась она.

Вахабов поднял на нее карие, чуть-чуть выпуклые глаза, спокойно изучил ее, обедев взглядом с головы до пят; длина платья у девушки была, как полагается, декольте отсутствовало, цвет туфель совпадал с цветом платья. Претензий к форме не было. Теперь можно было приглядеться к содержанию. Жестом пригласил садиться.

- Излагайте, с чем пожаловали!

Слушал внимательно, попросил подробностей, не стеснялся спрашивать разъяснений. Один раз перебил: «В нашем тресте никто еще не брал подряда». В том, как он это сказал, проскальзывало удивление. Вот, мол, есть полезное новшество, многих оно уже расшевелило, но пока проходит мимо нас, и это не есть порядок. Ирине Ивановне, однако, показалось, что ему трудно оценить комплекс проблем, перемен и выгод, которые нес с собой подряд. Действительно, прежде Вахабов учительствовал, потом работал инструктором в райкоме партии. И вопросы общие, организаторского плана, решать ему было просто, его опыт целиком был в этом русле. Техническая же сторона дела ясна ему была не всегда. И общих разъяснений ему, все же, было мало. Спросить, однако, про самые азы подряда ему было зазорно, ведь он сказал, что об этом новшестве осведомлен. Он проконсультируется потом, у друзей, а не у этой энергично напирательной на него вчерашней студентки. Нужно помочь, думал он, но как? Кого обязать, попросить, подтолкнуть? Правильнее всего было посоветоваться с управляющим трестом. Иноятов – хозяин, у него нити руководства, на нем и ответственность. Вахабов сказал, что передаст суть разговора управляющему, и попросил подождать.

Иноятов говорил с Москвой, потом стал говорить с Бекабадом. У товарища из Москвы он просил бульдозеры и покрышки для самосвалов, а своему бекабадскому подчиненному выговаривал за снижение темпов работ на объектах металлургического завода. Выступая в роли просителя, он говорил аргументировано и с чувством достоинства, а, возвращаясь в рамки своей должности и строго спрашивая, не бил подчиненного по голове, а давал время, чтобы поправить дело. Верный тон, ровный, не убивающий надежды голос. Вахабов слушал и думал об управляющем: «Каменная стена. Отец. Как нам с ним повезло!» Наконец, Иноятов кончил говорить, и Вахабов, приветствуя управляющего, низко ему поклонился, справился о здоровье и благополучии. Все было хорошо, жизнь одаривала радостями, наезженная колея защищала от неожиданностей, но именно она мешала сейчас Иноятову. Колея уравнивала, нивелировала, не позволяла выделиться. Поэтому, услышав о подряде, управляющий повеселел.

Эта инициатива снизу была как нельзя кстати. Обыкновенно инициативы снизу рождались наверху, часто в его кабинете, и это было не вполне хорошо. Юсуп Халилович немедленно объявил инициативу Соколова ценнейшей, а действия Прохорова и Конкина назвал незначительными и эгоистичными. В министерстве строительства республики был один уютный кабинет, хозяин которого в табели о рангах стоял совсем близко к министру, и кабинет этот прекрасный пустовал уже достаточно долго, волнуя не только Иноятова, но и многих молодых руководителей его ранга. И Иноятов, представляя себя его новым хозяином, отчетливо сознавал, что одного желания, одной мечты воцариться в этом кабинете мало, и к внушительным производственным достижениям треста, которые сами по себе были гирей тяжелой и позволяли надеяться, очень ко времени было приплюсовать и достижения организационного порядка – внедренный бригадный подряд, например, а также четкую диспетчеризацию и комплектацию объектов.

- Приглашай девицу, - сказал управляющий. - Мы это непременно поддержим. Кто она?
- Мастер. Молодой специалист.
- Какие кадры дают нам институты! Ты доволен? Я доволен.

Ирина Ивановна вошла, и Юсуп Халилович откровенно залюбовался ею. «Она еще и красавица! – сказал он и попросил назвать себя. – О, дочь Ивана Сергеевича! Знаю его прекрасно. Много его проектов претворено в жизнь, но вы среди них – самый удачный».

Она замешкалась. «Отец тоже о вас высокого мнения. Он посоветовал мне идти за содействием именно к вам», - сказала она.

- Содействие вы получите. Самое полное. Передайте бригадиру... этому, как его? Соколову! Что это дело решено.
- Из обсуждения проблемы с Конкиным я поняла, что он не противник подряда, но боится, что мы, руководители, не создадим условий. Не окажемся на высоте.
- Он реалист, тем и ценен. И черт бы побрал его за это! Иногда нам очень нужны фантазеры, как ваш этот... как его? Соколов! Почему не знаю?
- Еще узнаете. У него внешность уголовника, а добр и работящ, и еще мечтатель. Он вам будет делать погоду! – пообещала Ирина Ивановна.
- Нам, всему тресту, - мягко поправил Иноятов. – Мне что, я администратор, для меня это кресло – потолок!
- От вас я хотела бы услышать, гарантируете ли вы то, чего не смог гарантировать Олег Федорович – равномерное поступление материалов?
- Равномерное – едва ли, это больное наше место, а первоочередное – да.
- Тепличные условия?
- Новое нуждается в повышенном внимании, в опеке. Когда за ребенком неослабный уход? В младенчестве. Сейчас, пока на горизонте безоблачно, мы создадим запас конструкций и тем застрахуем себя от случайностей.
- Ну, а вдруг где-нибудь аврал, и нас тоже призвуют? Конкин опасается именно этого.

- Тогда – неудача, ибо мне тоже приказывают, и я обязан подчиняться. Но это не причина для пассивности. Давайте попробуем. Сегодня перед нами нет препятствий, которые бы помешали внедрить это новшество на вашем конкретном объекте. Следует ли так опасаться трудностей завтрашних? При нормальной погоде и пристальном нашем догляде их может и не быть.

- Вас поняла: лиха беда начало! – обрадовалась Ирина Ивановна. – Комбинат строительных материалов и конструкций не согласовал с нами графика поставки колонн, ферм, стеновых панелей, плит перекрытия. Колонны и ригели мы монтируем с колес и часто стоим, ожидая их.

- Я это поправлю.

- А без вашего вмешательства разве нельзя добиться этого? Я могу пофамильно перечислить тех, кто обязан сделать это в силу своих прямых должностных обязанностей.

- Остра, остра! Но тут все сложнее. У нас, к сожалению, между теорией и практикой всегда дистанция. Строек масса, мы распыляем силы. Это наша давняя беда. Бороться с ней мы пока не научились. Наше мнение о необходимости концентрировать силы на решающих объектах и сокращать сроки строительства вышестоящие инстанции знают, но решение оставляют за собой. Что-то прокручивается наверху вхолостую, без полезной отдачи, а как это поправить, я не знаю.

Ирина Ивановна одарила Юсупа Халиловича чарующим взглядом и сказала: «Большое спасибо. Рада, что познакомилась с вами. Доброго вам здоровья и до свидания!»

Она шла по коридору с высоко поднятой головой, каблучки ее стучали громко, и у нее было чувство, что она подняла что-то очень тяжелое, но ей не тяжело, а радостно. Неожиданное, светлое, мобилизующее чувство причастности к доброму делу.

11

Олег Федорович вызвал Пеночкину и Соколова и сказал: «Спасибо за подножку, ребята!» - Насладился их продолговатыми лицами.

- За мной вины нет! – Василий простодушно улыбнулся. Принять его за простака не составляло ни малейшего труда. Это первое, на чем попадались мало знавшие его люди.

- И за мной! – Ирина Ивановна гордо выпрямилась.

- Знаю, знаю! Вина за мной, как обычно. Тридцать шесть лет, и уже консерватор, уже своей особою застилаю белый свет способной молодежи. Василий Павлович, вечером, пожалуйста, собери бригаду на пятиминуточку. Обсудим условия подряда, подпишем бумагу, которая зафиксирует обязательства высоких договаривающихся сторон. Мешать вам не собираюсь, хотя помощь моя, знаю наперед, многого не поправит. То же могу сказать про управляющего трестом, приказ которого исполняю. Возьмете ли вы высоту, на которую нацелились, или только синячков набьете, про то не ведаю. Синячки и мне перепадут, про это знаю. Помогать буду, это непременно. У меня все.

Ирина Ивановна подняла на Конкина глаза. Смелость исчезла из ее взгляда, победа несла с собой меньше радости, чем ее предвкушение. Она сделала больно человеку, у которого училась работать. И сознавать это было не очень приятно. Но свет зеленый зажжен – спасибо, Олег Федорович!

Внешне в работе бригады мало что изменилось. Так же подъезжали самосвалы с бетонной смесью, большегрузные машины на длинных платформах привозили тяжелые колонны, фермы, ребристые плиты перекрытия. Так же споро делали свое дело краны, подававшие все привезенное на рабочие места или складировавшие детали про запас. Так же ходила с теодолитом и мерной лентой Ирина Ивановна, контролируя правильность монтажа колонн в плане и по вертикали. В те же часы, утром и после обеда, делал обход площадки Прохоров. Он был похож на стороннего наблюдателя, но на вечерней планерке выяснялось, что это абсолютно ложное впечатление. Так же нещадно палило солнце, и за машинами стлалась пыль, а в кабинах бульдозеров и кранов было, как на курорте Байрам-Али, где в горячем и сухом воздухе пустыни возвращались к жизни люди, у которых почти отказывали почки. Сварщики выпивали к вечеру двадцать пять стаканов воды. Да, внешне все обстояло почти, как прежде. И сам Соколов, начавший новый отсчет времени со дня взятия подряда, не видел разительной разницы между «до» и «после». Разительной разницы не было, а не разительная была.

На третий день, когда бригада высыпала из служебного автобуса, идущий впереди монтажник Латып Ахмедов поднял лежавший в пыли кирпич и, пронеся его сто метров, положил на контейнер с кирпичом. Правда, сделал он это демонстративно, ко всем повернулся, поднял кирпич над головой и сказал: «Копейка рубль бережет, а я уже сберег пять копеек. Запиши, бригадир, прибавишь к зарплате!» Но такой уж был характер у разбитного парня. Внимание он ценил наравне с деньгами и был счастлив от обыкновенного «спасибо», сказанного громко и при всех. А прежде он бы этот кирпич не поднял, мимо прошел и не обернулся. Зачем, он не каменщик.

«Бережливость – черта хозяйская», - подумал Соколов. Удивился, что похожие заголовки встречал в газетах. Подумал, что начинает мыслить газетными заголовками. Он был рад за Латыпа. Если учесть, что

отстающих у него в бригаде не было, как не было для них и климата подходящего, и Ахмедову тоже приходилось тянуться, часто пересиливая себя, но в лучшие он все-таки не попадал, инициативу проявлял больше в репликах, чем на рабочем месте, - если учесть все это, налицо была многообещающая эволюция: Ахмедов подобрал кирпич, которого просто не заметил бы вчера, даже если бы и споткнулся об него.

Пожилой и степенный дядя Миша, монтажник, отправил обратно на комбинат дефектную плиту перекрытия. Это был первый в истории бригады возврат бракованной конструкции. Прежде ее положили бы где-нибудь у бровки котлована с намерением прикрыть в распустье первую близкую лужу, да так бы и не использовали, и она лежала бы, мозолила глаза, а потом, при обратной засыпке, ее бы первую столкнули вниз, ближе к стеночке, и засыпали. Но стоимость ее была бы оплачена управлением, не ругаться же с поставщиком из-за одной поломанной плиты. Теперь плита вернулась на комбинат. Там проявили неудовольствие. Телефонный звонок раздался сначала у Прохорова: «Вы чего, с ума там посходили?», потом у Конкина: «Олег Федорович, не руби сук, на котором сидишь!», потом у Иноятова: «Давайте будем взаимно любезны, войдите в наше положение, потом мы войдем в ваше». Звонки не помогли, и недовольство осталось, затаенное. А дядя Миша, отправив дефектную плиту, сказал речь, чего с ним никогда не было, и добился, что его похвалили за принципиальность. Все-таки груз ответственности, который он сам, своей волей взвалил на свои плечи, был тяжел и непривычен.

Другой ветеран, седовласый и плоскогрудый Аскольд Бауэр, плотник-чудотворец, в конце смены, поставив и закрепив все имеющиеся в наличии опалубочные щиты, вдруг отложил топор и пилу и взялся за вибратор: бетонная смесь шла бойко, бетонщики запарились. Никогда Бауэр этого не делал, да и вибратор был уже тяжел для его рук. А тут подключился, тихонечко, бессловесно, но все увидели и заулыбались, и посыпались остроты-прибаутки. Подряд, мол, это фитиль-катализатор, ловко вставленный начальством в такое место, которое не предназначено для всеобщего обозрения. Ловко Вася придумал, у него лебедь, рак и щука в одну сторону тянут, спелись, хоть на фестиваль их вези и всем про них рассказывай.

Был еще у него в бригаде один человек, из бывших уголовников, парень мордастый и в кости широкий, но с природной пренебрежительной ленцой. От него Соколов уже ничего не ждал, лишь бы стадо не портил. Звали его Константин Игнатов. Василий обычно ставил его на самостоятельную работу, каждый раз обозначая дневную норму. Так вот, к обычно скромному своему заданию Костя стал прихватывать еще и еще, а получасовые перекуры (он мог курить и лежа) сократил до приемлемых размеров. «Ну, Костя! Привет, Костя!» – хвалил его Соколов. При всех хвалил, чтобы все видели, хотя Костя только догонял всех, только сравнивался со всеми. Что проняло увальня, так и не поняли. Игнатов долго держался особняком, и ему, скорее всего, это надоело. Василию хотелось влезть в душу к парню, но он знал: не время. Подряду Соколов эту перемену не приписал, а объяснил ее себе так: «Последовала новая команда ускорить шаг, и если прежнюю Костя не выполнял из чувства противоречия и своей обособленности, то новую, которая касалась всех и не была обращена к нему персонально, легко выполнил вместе со всеми».

На других Соколов мог положиться и раньше, а пять-шесть человек, ядро бригады, были такие же, как и он. Правда, больших стратегов и среди ядра отыскать бы не удалось, это все-таки требовало подготовки и известной направленности мысли. Но то, что лежало на поверхности, этими бывальыми строителями было увидено быстро. Так, плотники попросили выписать листового железа, обшили им опалубочные щиты, и оборачиваемость опалубки теперь могла удвоиться и утроиться. Дополнительный же расход не был таким уж чувствительным. Почему же прежде плотники не оббивали щиты жестью? Тогда они делали, как им говорили; теперь им было предложено подумать, и они подумали.

Прежде старики уходили домой, зажав под мышкой кто досочку, кто брусок, насыпав в сумку гвоздей. Теперь молодые цыкали на несунув, и это прекратилось сразу и насовсем. Изменилось и отношение к механизмам. За их использование теперь платили словно из своего кармана. Отправили, за ненадобностью, в управление механизации компрессорную станцию вместе с механиком. Бульдозер, закончивший планировку съезда в котлован к обеду, передали соседнему участку сразу после обеда, и в путевом листе поместили: четыре часа, не восемь. Хозяйственность стала прорезаться сразу же. Появился интерес к механизированному инструменту. Электрифицированные дрели, гайковерты, точила стали покупать на толкучке, благо толкучка изобилвала предложением и не кусалась ценами. Вкладывали свои средства, зная, что эти вложения окупятся. «Должно удастся, доросли, заслужили!» – думал Василий. В старании своих людей он видел воодушевление, о котором давно мечтал.

Должно, должно получиться, опять подумал он. Иначе будет несправедливо. По подряду, если удастся уложиться в сроки, каждый из его рабочих мог получить не менее тысячи рублей премиальных. Снижение себестоимости работ (тут и экономист не дал бы точных расчетов) могло принести бригаде еще несколько тысяч. В итоге, по мотоциклу с люлькой на брата. Но старание бригады, и Соколов видел это, упиралось не в один заработок. Хотя сорокалетнему Пулату Османходжаеву, отцу восьмерых детей, такой приработок будет весьма кстати. С согласия бригады у Пулата разряд был выше, чем у остальных. Не одних денег ради начинала бригада свое восхождение. Соколов видел, что люди в бригаде становятся ближе друг к другу, что подряд сплачивает рабочих в единую семью, и радовался этому.

Самосвал привез очередную порцию бетонной смеси. Два кубометра. Кузов плавно пошел вверх, бетонная смесь с шорохом потекла в блок. Это была пятнадцатая машина за смену. Пятнадцатая и последняя. Василий, в брезентовой робе и резиновых сапогах казавшийся большим колобком, полез в блок и включил свой вибратор. И сразу включили вибраторы другие бетонщики. В блоке загудело. Вибраторы медленно перемещались в вязкой серой массе, изгоняя из нее пузырьки воздуха. Правило действовало простое: чем выше плотность бетона, тем выше прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и прочие качества, представляющие ценность. И бетонщики добивались лишь одного – высокой плотности укладываемой смеси. Вибраторы гудели, как гудит сильный, ломающий деревья ветер. Жарко, очень жарко. Еще вот в этот угол надо сунуть вибратор, у самой опалубки. И в эту пазуху. Теперь здесь, – вон как густо пузырьки вверх побежали! Ура, все!

- Пошабашили, братва! – сказал бригадир и рукавом брезентовой спецовки смахнул пот со лба. – Поканал в душевую!

Рабочих ждал автобус. Стало тихо. Соколов сел на опалубочный щит. Его поджидал стальной конь, послушный и быстрый, и можно было не суетиться, не спешить. Дома с некоторых пор он чувствовал себя неуютно. Лора по-прежнему забегала к Альбине, и было лучше, когда она делала это в его отсутствие. Он сидел и созерцал площадку, ее привычный порядок. Это занятие ему нравилось всегда; он отдыхал, и тут как тут была пища для размышлений. Мысли же часто уносили его за бетонный забор и дальше, за тусклый горячий горизонт.

Когда он ходил в школу, в последние классы, он любил смотреть, как строят. Сворачивал с прямой дороги, останавливался у какого-нибудь котлована, отыскивал щель в дощатом заборе или проскальзывал за ограждение, и смотрел. Ему нравился этот многоликий созидательный процесс – и копка котлована большими машинами, и заливка фундамента, и кладка стен, и устройство перекрытий, а потом кровли, и штукатурка, и побелка. Ничего из этого процесса он не выделял специально для себя, а стоял, смотрел и запоминал. Больше всего, пожалуй, ему нравилось, как действуют каменщики. Как они натягивают шнур, выводят по тяжелому отвесу угол, а потом уже много быстрее кладут стену, и каждый кирпич без всякого усилия со стороны рабочего точно плюхается на свое место, и ряды перевязаны, а стена ровна – загляденье. Не очень быстро действуют каменщики, но и совсем не медленно. Хорошая работа не терпит суеты. Это он понял позднее, когда сам поднялся на леса, когда кельма и молоток стали его орудиями труда. Вопрос, кем быть, собственно, никогда не стоял перед ним.

Он знал это с седьмого класса, с первой своей сознательной остановки перед котлованом, в котором должен был подняться жилой дом. Сейчас он в совершенстве знал большинство строительных работ, разве что кроме отделочных и специальных. Он умел, конечно, и штукатурить, и красить, и провести газовые и водопроводные трубы, но это он умел не как мастер. Все же то, чем занималась его бригада и что было оговорено в подряде, он знал и умел как мастер, и здесь трудно было составить ему конкуренцию.

Да, подростком он смотрел на стройки в заборные щели и впитывал, впитывал. И вот что из этого получилось. Был еще пример отца, профессия которого в его глазах всегда была престижной. Но, все-таки, он не остановился на этом тонком ремесле, требовавшем и развитого вкуса, и особой деликатности в обращении с дорогим материалом – орехом, капом, дубом, ясенем. Он пошел в самую гущу стройки, в самую ее глубину, и теперь часто сравнивал себя с пловцом, которого вода не утомляет, а манит и манит дальними счастливыми берегами. Чем больше проплываешь, тем ты здоровее и тем ты лучше, как пловец. И хочется плыть еще дальше.

Он плыл, а счастливого берега не было видно.

- Подводите первые итоги? – Голос за его спиной был неожиданный, он встрепенулся. Сзади стояла Ирина Ивановна. Он сказал что-то невнятное, не к месту, невпопад. Она улыбнулась, довольная его замешательством. «Закрывала наряды, а это канительно. Бригада будет довольна», – сообщила она. Василий никогда не давил, как другие бригадиры, на прораба, закрывающего наряды, не требовал, чтобы было побольше. Он спокойно кивнул; ему и его людям хватало заработанного. Служебный автобус ушел, и он предложил подвести ее.

- До Шота Руставели! – попросила она. Но он привез ее домой, уже в сумерках. И вдруг подумал, что мог бы увезти ее далеко-далеко. Но это была фантазия, это было несбыточное.

Одно событие сегодня очень удивило Ирину Ивановну. Событием, собственно, происшедшее можно было и не называть, ибо к событию привлекается и постороннее внимание. Здесь же все оставалось в рамках узкого круга лиц. Но сначала о происшедшем. Когда Ирина Ивановна спустилась в котлован посмотреть на работы, звено бетонщиков, принимавшее бетонную смесь в стаканы – фундаменты под колонны, – никак не прореагировало на ее приход. Никто не прекратил работу, не остановился, чтобы послушать, покурить, проводить ее плотоядным мужским взглядом. К ней повернули головы, ей кивнули – и только. Правда, тут же к ней направился бригадир, но она жестом остановила его. Остальные даже не выключили вибраторы. Чудеса, подумала она. Такого она еще не видела. И, ведь, не запарились ребята, ни одна машина с бетонной смесью не

стояла в ожидании разгрузки. Этот новый ритм был прямым следствием подряда. «Я уже не Наяда», - подумала Ирина Ивановна. Легкая грусть коснулась ее чела; игра, которую она так любила, вдруг прекратилась. «Наяда!» – опять с удовольствием повторила она.

Вскоре после ее прихода на стройку у нее появилось прозвище, причем она не знала, кто первый пустил его в обиход. Ее стали звать странным для нынешнего времени, звучным и загадочным именем Наяда. «Наяда!» – говорили друг другу парни и старики при ее приближении и улыбались, и этим коротким и энергичным словом было сказано все, ибо комментариев не следовало. Она – Наяда. Ей было приятно, хотя она догадывалась, что большинство рабочих, с наслаждением смакующих это диковинное слово, смутно представляло, что же оно означает. Прозвище было похоже на мягкую укачивающую волну. Что ж, зачастую она была единственной женщиной в котловане. И, как женщина, она угадывала главное, из-за чего родилось прозвище: на нее приятно было смотреть.

Издали, не зная этих людей, она думала, что они грубы, прямолинейны и недалеки, а мир их интересов узок, и водка, футбол летом и хоккей зимой – его стержни. Все это был навет, вздор, и она обрадовалась, когда увидела, что ошиблась. Прежде всего, она увидела людей добрых, великодушных, не прячущих за словами-ширмами свои мысли и настроение. Все знали, что она новичок, и старались, чтобы она вживалась в стройку быстро и без осложнений. Тут был и практический интерес: меньше ошибок – меньше переделок. Когда все шло хорошо, ее подбадривали, обещали счастливо выдать замуж. Когда что-нибудь застопоривалось, у нее просили не так, как просили у Геннадия Емельяновича. Того по-мужицки брали за грудки, чтобы не отнекивался и поспешал, ей же деликатно говорили: «Пожалуйста!» Вначале думали, что она только передаточное звено, проводник. Но передаточное звено действовало, деликатное «пожалуйста» зачастую оказывалось эффективнее прямолинейной и грубой осады Прохорова. Это удивляло, Наяда загадывала загадки. Она, оказывается, и могла, и умела. Ибо, прежде всего, она старалась. Теперь во взглядах, на нее устремленных, преобладало уважение.

Прохоров мог разрешить себе поблажку, мог отложить на завтра то, что потребовало бы от него сегодня большого напряжения, больших дополнительных усилий. А Ирина Ивановна с этим не считалась, она готова была начать бой при любом соотношении сил. Ее просили вежливо, как об одолжении, не ранив слух емким мужицким словом. Она же, требуя, преображалась. Не девичья твердость, не девичья настойчивость вдруг обнаруживалась в ее поступках. Да, у прекрасного имени Наяда были десятки интонаций, оттого и звучало оно всегда по-разному. Странно, что ни Прохоров, ни Конкин ни разу не слышали этого имени. В их присутствии Наяда была только Ириной Ивановной.

Великодушные этих людей она почувствовала, когда ошиблась. Случилось так, что пятую колонну она посадила на десять сантиметров выше. Она работала всего третью неделю и еще не была Наядой. Как раз в обед выдали аванс, и она получила свои пятьдесят, первую в жизни зарплату. Зарплата была не похожа на стипендию, вызывала чувство гордости и удовлетворения. Колонну эту ставили долго, часа два, а потом она отошла в сторону – проверить, и увидела, что колонна выше остальных. Но почему? Нивелир тотчас подтвердил ошибку. В спешке она неправильно вычла отсчеты по рейке. Она побледнела и все объяснила монтажникам. И тогда колонну без лишних слов извлекли из стакана, подогнали компрессорную станцию, отбойным молотком вырубili злополучные десять сантиметров бетона и вновь повторили монтажную операцию. Четверо человек, считая и крановщика, потеряли два часа, но ее не упрекнули. «Может быть, вам поставить?» – спросила она монтажников. «Поставьте, из ваших рук нам будет приятно принять, - за всех сказал дядя Миша. - Обмоем вашу первую получку». Они потом выпили при ней, разделив водку на четверых (бригада уже уехала). И никто не напомнил про ошибку. Пили только за нее, чтобы у нее все шло, как надо. Сама она не пила, и ее не уговаривали. На приглашение она ответила: «Что вы, пьющая женщина – это очень плохо». И с ней охотно согласились. Она видела участие, и только. Свой позор она пережила, выплакалась дома и потом всегда была внимательна и аккуратна и проверяла себя дважды и трижды, прежде чем дать отметку. Верна, верна пословица: семь раз отмерь, а потом уже режь себе спокойно и не оглядывайся назад. Все правильно: когда сколько надо раз отмеришь, тогда и спишь спокойно.

Через месяц она нашла ошибку в проекте. Все удивились. Приехал представитель проектировщиков, поблагодарил, и тот же дядя Миша, узнав об этом, тоже похвалил ее и сказал: «Вот и вы спасли нас от больших переделок! Выходит, наш черед ставить бутылку, да не знаю, надо ли. Ведь для себя поставим, не для вас». Она звонко рассмеялась и сказала: «Езжайте домой!» Ей все в бригаде говорили «вы», старики и молодые. Потом она узнала, что об этом попросил Конкин. Заботился об ее авторитете. Она мысленно поблагодарила его, но тут же отметила противоречие: сам Олег Федорович с первых дней говорил ей «ты». Как начальник подчиненной. Ее опасения, что будет трудно и сложно, не оправдались, ноша оказалась по ее плечам. Трудно было, конечно, и сложности возникали чуть ли не на ровном месте, но все это было освоением производственных отношений (при этом, по Марксу, человеческие отношения отступали на второй план) и, оказывается, могло нравиться, могло заполнять жизнь и развивало Ирину Ивановну, как личность. А то, что нравится, уже не трудно и не сложно, уже твое, кровное, не подлежащее обмену на другое, даже если обмен сопряжен с будущими выгодами.

Первого своего рабочего дня она боялась. Волновалась, что она скажет, что скажут ей, послушаются ли, отнесутся ли уважительно? То, как она шла тогда на работу – напряжение и ожидание, и неизвестность, было похоже на то, как она шла на первое свое свидание. А ведь причины волноваться не было совершенно. В первый день ее усадили в конторе за отдельный стол, дали папку чертежей и сказали: «Знакомьтесь, это наш новый и ваш первый объект – завод солнцезащитных устройств». Она с головой зарылась в пухлую папку, и завод чертеж за чертежом открывался ей, компактный, узко специализированный, оснащенный итальянским оборудованием (конкурс на поставки выиграла итальянцы). Читать чертежи она умела, она научилась этому еще до института у отца, который посвящал ее во многие свои замыслы с тайной целью увидеть когда-нибудь ее архитектором. Но она выбрала строительную площадку; он, конечно, был огорчен, ее слова: «У нас с тобой, папа, будет здоровое разделение труда» – утешали слабо, но право выбора было за ней, он не смел настаивать. Конкин думал, что изучение проекта продлится неделю-другую, но уже через два дня она заявила, что готова к следующему этапу.

- Резва! – сказал ей Конкин. – Ладно, жми. Разбивка за тобой. На объект перейдет бригада Соколова, у него и проси рабочих в помощники.

Начало ей очень облегчили, дали новый объект. Ни тебе приемки полуготовых сооружений, ни чужих ошибок, которые будут выплывать постепенно и в самое неподходящее время. Соколов выделил двоих рабочих, и она неделю в поте лица забивала на площадке колышки: трассы под водопровод, канализацию, электрический кабель, оси подъездных путей, контуры котлована под производственный корпус. Рабочие повиновались без возражений, сомнение, послушаются ли, отпало сразу. Ее слушали, она была инженер, она указывала. Она одна знала, что здесь будет. Забивать же колышки – это не бетонную смесь укладывать, это для них были семечки.

Очень быстро круг ее обязанностей расширился. Когда у нее появилось чувство, что хозяйка этой строительной площадки она, не раньше и не позже, в ее распоряжение поступили люди Соколова. Спускаться в котлован еще было рано, бульдозеристы еще не создали задела, и бригада начала с забора. Споро обнесла фигурным железобетонным ограждением пятигектарный прямоугольник заводской территории. Здесь, однако, поджидала ее первая крупная неприятность. Она узнала, что начать с объектов нулевого цикла не удастся. Специализированные управления завязли на других стройках, и нуль будет вестись параллельно с главным корпусом, по мере высвобождения сил у субподрядчиков. Она пробовала протестовать: это не по правилам, нуль должен опережать возведение основных объектов, ведь вода, электроэнергия и дороги нужны не только готовому заводу, но и для его строительства.

Она постучалась в одну дверь, во вторую. Робости при этом не испытывала, знала, что пришла за своим, за кровным. Везде ей вежливо разъясняли, что она и ее люди материально не пострадают, что, наконец, над ней не мало всякого начальства, которое тоже кое в чем разбирается, и если начинают так, сразу с главного корпуса, то так и надо, страшного-то ничего нет, стыковка произойдет позже, только и всего. Ей, обессиленной, пришлось согласиться. Какой-нибудь реальной властью, оказывается, генеральный подрядчик не обладал, рублем наказать никого не имел права, а мог только бросить бранное слово, которое тотчас же к нему и возвращалось: сам дурак! Во всяком случае, специализированные строительные и монтажные организации игнорировали требования генерального подрядчика постоянно. Их представители появлялись на объектах тогда, когда хотели, и планы генерального подрядчика не обязывали их ни к чему. Нуль отстал сразу, воду пока привозили в цистернах, а для энергоснабжения протянули временный кабель.

Привезли вагончик, у нее появился свой угол, свой стол, свой железный запирающийся ящик с геодезическим инструментом, свой шкаф для технической документации. Второй вагончик заняла под свои нужды бригада. Покончив с ограждением, бригада поставила навес для арматурных и плотничных работ, деревянный склад и душевую. На объекте появился сторож. Все обрело солидность, стройка закипела. Ирина Ивановна теперь подписывала десятки накладных и путевых листов, машины везли, везли и везли, а другие машины рыли, подавали, уплотняли. Геннадий Емельянович учил, но не подменял, и Олег Федорович учил, но не подменял. Ее самостоятельность ей очень нравилась. И первый ее рабочий день, которого она так боялась, прошел быстро и незаметно. А далее было постепенное, шаг за шагом, вращение в стройку. Потом в ее распоряжении было два человека, пять, десять, двадцать. Но, ведь, не сразу. Сначала посмотрели, плавают ли она. Она плавала, неумение возмещая рвением, и если считать, что опыт – дело наживное, то в первые дни она приобретала навыки чрезвычайно быстро.

Бригадир у нее пока был только один – Василий Соколов. Его люди возводили главный корпус, за который она отвечала персонально. В первые дни ей было с Соколовым как-то неуютно. У него был зоркий, с прищуром взгляд, лицо рассекал глубокий шрам. Она терялась. «Не бойтесь меня, я сам вас боюсь!» – задорно сказал он. Дело, однако, не ждало, и она взяла себя в руки. Через месяц, когда ее уже звали Няядой, он вдруг поинтересовался: «Как вы стали строителем?»

- Папа и кубики, - сказала она. – Папа слишком рано подарил мне кубики, я научилась строить дома раньше, чем читать. Папа всегда ругал строителей за низкое качество работ и отклонения от проекта. Он называл это самодеятельностью и варварством. А мне нравилось не конструировать, не рисовать, а именно строить.

- Теперь вы – полярные стороны.

Она засмеялась, но подумала, что это не так, хотя у нее с отцом и разыгрывались жаркие баталии, и еще подумала, где же он заработал свой ужасный шрам, который, наперекор логике, был ему к лицу. Спросить, однако, сочла бестактностью.

Первый день, которого она так боялась. Теперь она знала, какая это великая сила – постепенность. Не все сразу, не дерзкий революционный напор, а одно, второе и третье в удобной для исполнителя последовательности. Плавное и точное соразмерение сил и способностей с порученным делом. Прохоров и Конкин были против подряда именно потому, что в переходе к подряду рвалась постепенность. Опыт, конечно, был за них. Но выгоды подряда ощущались уже сейчас, хотя шла всего третья неделя со дня его внедрения. В бригаде словно прибавилось людей. На самом же деле, вырос темп работы. Она это чувствовала и по себе, теперь она больше уставала. Но она была согласна уставать еще больше, лишь бы не остановиться на полпути в самый ответственный момент. Она боялась красного ока светофора. И Прохоров его боялся, и Конкин. Конкин боялся его больше всех. Он был за рулем, и перед ним красный свет зажегся чаще всего.

13

Со стеллажа, занимавшего всю стену и подпиравшего потолок, на Ирину Ивановну смотрели сочинения классиков и не классиков. А она смотрела на любимые книги в бессильном раздумье, что выбрать. Было воскресенье, и был момент, когда некуда деться. Она ждала неизвестного и неизведанного, но все это запаздывало. Окружало же все обыденное, привычное, повторяющееся неизвестно в который раз. Тихо надвигался вечер, стены опять были готовы сомкнуться со стенами и пол – с потолком. И для нее опять не оставалось места. Не надо давать повода, подумала она, я слишком часто даю ему повод, и он воодушевляется. Она анализировала взаимоотношения с Олегом Федоровичем и делала неутешительные выводы: дистанция, которую она столь тщательно оберегала, все же сокращалась, он теперь позволял себе больше, чем должен был позволять, оставаясь их отношения чисто производственными; она терялась, но пружина, сжимавшаяся в ней для отпора, она знала, имела предел. Ей, однако, не хотелось объяснения решительного, ибо она не знала, как поведет себя. Даст ли пружине, сжатой для отпора, распрямиться, или медленно нейтрализует накопленную в ней силу и ответит ему благосклонной улыбкой. Он уже увидел ее раздвоенность и стал настойчивее. Он зорек, этого у него не отнимешь. Откуда эта раздвоенность, что она нашла в этом странном человеке, который и много старше ее, и, главное, женат? Нет, она скажет, вынуждена будет сказать: «Олег Федорович, не надо, давайте остановимся!» Или подумает так, а сказать повременит? Какая мягкотелость!

«Повод», - подумала она. Нет, поводы находил он, а она, напротив, до минимума сократила свои посещения конторы и часто, ссылаясь на неотложность дел, просила Прохорова сделать в конторе то, что входило в ее прямые обязанности. Одолжения, конечно, были невелики, а Геннадий Емельянович вел себя покладисто, и не надо было ничего выдумывать, а надо было, чтобы Олег Федорович прекратил. Скажу, решила она. Неопределенность ему на руку, он удваивает усилия. Рано, незачем торопиться, пусть сначала выскажется он, вмешался рассудочный голос оппонента. Поторопить события или отдаться течению? Ясность для нее была очень важна. Собственно, ей все было бы уже ясно, если бы не жалость, которая подкралась исподволь. Она жалела Олега Федоровича. Он, безусловно, заслуживал лучшей доли, и его несчастье угнетало ее, рождало трудно объяснимое чувство вины за женскую половину рода человеческого. Но присутствовал и интерес к его судьбе, который мог вылиться в прямое поощрение.

Она вспомнила, как Конкин и Прохоров сражались в шахматы у зеленой воды озера «Рахат» и совершенно про нее забыли. Какой Олег Федорович мальчик, подумала она тогда. Тридцать шесть лет – и мальчик, увлекающийся, стыдливый, идущий напролом (она угадывала в нем и это), верящий в свой успех. Вот он барахтается в воде, неуклюжий, несуразный, ничего начальственного, одни брызги вокруг. Вот он прыгает на одной ноге, наклонив голову, чтобы из уха вылилась вода. Смех! Вот он берет ее за руку, заглядывает в глаза. Тут уж не до смеха. Какой пытливый, ищущий, проникновенный взгляд! Ничего не нужно объяснять, ему ясно, он все знает. Вот он на планерке, во главе стола, на его лице улыбка или укор, и каждому воздается по заслугам. Это уже его стихия, тут он пловец, тут мало кто с ним сравнится. Тут он инженер, тут он создатель. Но она видела его и слабым, растерянным, подавленным – разным.

Пусть сначала скажет он, опять подумала она. Он, собственно, сказал уже почти все своим к ней отношением, он был искренен и рассчитывал не только на сочувствие. Несколько раз он настойчиво приглашал ее в кино, в театр, к друзьям на шумные вечеринки – куда-нибудь, лишь бы она оказала честь, лишь бы видеть ее рядом. Она обычно отказывалась, но два раза была на вечеринках («День рождения – нельзя – зовут!»), и положение ее там было, она чувствовала, щекотливое, двусмысленное, хотя о жене Олега Федоровича никто не произнес ни слова. Внимание его росло, рядом с ней он преображался, назревало объяснение. Она чувствовала это. И вчера почти услышала его. Олег Федорович приехал на объект под вечер, за час до окончания смены, она повела его по площадке, рассказывая. Он кинул быстрый взгляд на котлован, на траншею, где, к счастью, копошились сантехники, сказал: «А ты развернулась!» Но в глазах у него было другое, огненное, к работе не

относящееся. Она потупилась, и тогда он, перехватив инициативу, сам повел ее вокруг котлована, не приближаясь к работающим. И произошел этот странный разговор, хотя, собственно, какой это был разговор, она молчала и слушала и не знала, выслушивать ли ей до конца. У него, видимо, очень накипело на душе. Держа ее под руку и наклоняясь к ней (ей было чрезвычайно неловко, что это происходило на людях), он говорил:

- У меня семья, ты знаешь, жена и дочь-восьмиклассница, но я сейчас все равно что один, мое состояние таково, словно скоро я буду совсем один, и я хочу этого. Хочу свободы, и хочу все – сначала.

- Надо ли? – подала она голос. Ей хотелось, чтобы он остановился.

- Надо! Непременно. Я сейчас под таким ярмом! Ты честная, ты поймешь и не осудишь. Слышала ли ты что-нибудь о моей Надежде Викторовне?

Она кивнула. Друзья Конкина его супругу не жаловали и свое мнение от ней высказывали откровенно. Мол, это та еще соковыжималка!

- Это все слухи, сплетни, пересуды. На самом деле все хуже, все просто страшно плохо. Казалось бы, чего бабе надо? Семья, квартира, муж получает, она получает. А дом запущен, дочь больше на мне, пять раз скажет «папа!» и один раз – «мама». И это потому, что Надежда Викторовна с головой ушла в приобретательство. Шифоньер ломится от ее приобретений. Открою дверцу, и на меня прет лавина пронафталиненного изобилия. А ей все мало, мало, мало. Дочь подрастает и начинает с мамы пример брать. А у меня всего один костюм, и тот скромненький. В министерство идти в нем стесняюсь, – залоснился. Она же все комиссионные магазины знает назубок. Кто-то из ее пронирливых баб что-то разношает, и звонки утром, вечером, ночью. У нее целая стратегия, как что заполучить. А куда, зачем, когда и так всего под завязку? Отвечает: не мое это дело, ей надо выглядеть прилично, следить за собой. Все проматывает. Мою зарплату, свою, все премии. На второй день после получки часто сидим без рубля, на макаронах и перловке. Долгов набрала за тысячу рубликов. Мне не жалко, одевайся по моде, но и по средствам. Не толкай на недозволенное! Я не скупой, но такое отношение к жизни не приемлю. Снесла спекулянтам мою школьную золотую медаль, любимые книги. Все для себя. И все мало, мало, мало. Купить, достать, выменять что-то на лучшее, кого-то обскакать на этом – это и есть смысл ее жизни. Мне страшно, уж больно низменно все это. Если бы она могла, она давно бы и меня снесла в комиссионный магазин и взяла взамен что-нибудь фирменное, - с горечью завершил он свое признание.

- Это идея, подскажите! – улыбнулась Ирина Ивановна. Но ей было горько, стыдно, странно. В ее доме и близко не было такой нездоровой обстановки.

- Я уйду, это не жизнь, это зло, несчастье. Оставлю ей квартиру, заберу дочь и книги. И пусть купается в барахле, пусть и дальше несет, нагромождает! У меня к ней ничего не осталось, один холод.

- А когда-то было по-другому. Когда-то она была желанна!

- Жизнь не незыблема. Кстати, тогда у нее едва ли было больше трех платьев.

Ирина Ивановна вспомнила Надежду Викторовну, приезжавшую в день зарплаты за деньгами. Ей указали на нее (может быть, преднамеренно), и она оглянулась. Это была женщина среднего роста и почти девичьего сложения, белотелая, румяная, с обилием золота и самоцветов на руках и шее. Смотрелась она экстравагантно, но внимание привлекала не одними драгоценностями и модным костюмом, но и тем, что модный костюм прикрывал. Как Олег Федорович допустил, куда смотрел? А куда смотрела она, когда Аркадий вплетал ее в центр своей интриги? «Бывают моменты, когда нас быстро и просто обводят вокруг пальца, а мы как в летаргическом сне, - подумала она. – Обман нам сладок, и прозрение начинается только тогда, когда приходится залечивать раны. Она ему изменяет, но это неинтересно. А он ей? Наверное, и он. Она – ради знакомств, облегчающих ее приобретения, а он – в отместку, от злости и бессилия. У него к ней ничего не осталось, тут он прав, тут ему не надо спрашивать себя вторично».

А я, подумала она, что влечет его ко мне? Молодость? Он не любит, он ошибается. Она опять вспомнила, как Олег Федорович сражался с Прохоровым в шахматы. На песчаном берегу. Самозабвенно сражался, про все на свете позабыл. Нет, он не любит. Игра тогда поглотила его, как омут. Давая ей разные названия и имена, с каким единодушием они оба остановились на том, что она баба! «Баба-баба-баба-баба!» - скандировали они, и каждый, произнося слово «баба», успевал сделать ход и нажать на часы. Как муторно ему дома, без всякого перехода подумала она. Четыре стены и эта одержимая приобретательством, не замечающая его женщина. Эта страсть, как бочка без дна. Встречать мужа словами: «Что ты мне принес?» вместо: «Добрый вечер, милый! Я заждалась, милый!» О, она бы встречала мужа такими словами, что он летел бы домой, как на крыльях. Вопрос: «Что ты мне купил?» звучит мило только в устах ребенка.

- Мы чужие, - продолжал свою пылкую исповедь Олег Федорович, все так же демонстративно держа ее под руку и стремясь заглянуть в глаза. – Я пытался ее остановить, вразумить, но все бесполезно. Это как болезнь, которую не лечат. Остается последнее, – расстаться. И пусть она и дальше купается в своем приобретательстве, это уже не будет меня коробить.

- Зачем мне знать все это? – не повышая голоса, спросила Ирина Ивановна. Ее пугала глубина его несчастья, открывшаяся ей так неожиданно. Какого-нибудь совета, естественно, дать она не могла, житейской мудрости ей еще надо было набираться и набираться.

- Имеет смысл, - ответил он сразу. – Я делюсь с тобой, как с другом, и надеюсь на понимание. Сегодня, например, я встал в замечательном настроении, впервые за много дней ощутил, как прекрасна жизнь, как прекрасно, что тридцать шесть лет назад меня родила моя мать, и как много прекрасного вокруг и даже внутри меня. И тут проснулась жена, устремила на меня свои блестящие ледяные глаза и сказала: «Ты не сможешь занять у кого-нибудь пятьсот? На бельгийское пальто с жемчужной норкой и норковую шляпку? Боюсь упустить этот редчайший комплект». Меня всего заколотило. Это мерзко...

- Вы считаете, что вам лучше жить одному?

- С дочкой. Дочку я ей не оставляю.

Она пожала плечами. Она не верила, что он решится. Но это, опять же, было исключительно его дело. Она спокойно, но решительно высвободила свою руку из его влажной ладони и сказала: «Это все я должна принять к сведению, или как?»

- Никак, - смутился он. – Прости, я хотел выговориться. Очень тяжело. Надежда Викторовна, катящаяся черт знает куда, дочка, суд. Все это не так просто.

- А я лекарство, противоядие или что-то третье? Не умею утешать, - сказала Ирина Ивановна. – Мечтать умею и люблю, а утешать – нет. И не так уж все у вас безнадежно, как вы тут обрисовали. Не надо сгущать краски. Художники, правда, строят на этом всякие свои эффекты, но в жизни тенденциозность чаще мешает, чем помогает.

Он опять смутился, затем кивнул ей, попросил не беспокоиться и быстро зашагал прочь. Обернулся, крикнул: «Извини, пожалуйста!» Побежал от нее. Она чувствовала, что он не договорил всего, что в последнюю минуту он собирался сказать самое важное, то, из-за чего, собственно, и начал разговор, но вдруг замешкался и дал задний ход. Она не окликнула его, но и не вздохнула с облегчением. Это не кончилось, отсрочка ничего не меняла, а если бы кончилось, жизнь, она чувствовала, была бы уже не столь интересна. Да, странный, даже недобрый был разговор. Она поехала. Может быть, открыться отцу и спросить его совета? Нет, ее заботы, ее и плечи. Отец не оправился еще от ее Аркадия.

Ирина стала уверять себя, что спокойна, совершенно спокойна и ничего не случилось, и последнее слово, которое за ней, не произнесено. Это последнее слово все расставит по местам. Героиней романа она себя не видела. Ей просто интересно, и все. Она не любит, значит, и взвешивать нет нужды. Но есть еще участие и дружба, которые помогают в беде. Какая дружба, о чем это я, подумала она. Конкин ждал от нее весьма определенного, чисто женского участия, в котором дружба оттесняется на задворки. Ей же было жалко его. Жалко, и ничего более. Ему нужна опора, а она не опора. Чепуха, подумала она. Опора, не опора – какие относительные вещи! «Пойду ли я за ним, если он позовет?» – вдруг спросила она себя. Нет! Но тотчас увидела, что не хочет, чтобы все кончилось.

Кого же она тогда ждет? И чего ей надо, кроме шоколада? Кто ее принц? Вопросы прозвучали, ответа не последовало. Она вспомнила знакомых женщин, умных и тонких, которые ждали своего принца и своего часа долго-долго, отвергая все то, что им, как им казалось, не подходило, и в итоге остались ни с чем, и которых теперь глодало одиночество. Но иного не было ничего, одно это – ждать. Человек, который войдет в ее жизнь, будет любимым человеком, и свяжет их не жалость и не сострадание. Иного она и не ждала. «Олег Федорович должен увидеть это», - подумала она.

С некоторых пор Олег Федорович не очень-то спешил домой, в субботу уезжал в управление с удовольствием, даже если этого не требовали обстоятельства. А в воскресенье, делать нечего, покорно отбывал домовую повинность: выстаивал в очереди за молоком, приносил с базара фрукты и овощи, покорно крутил ручку стиральной машины, в то время как телевизор транслировал футбол, гладил, закатывал впрок банки с абрикосовым компотом и баклажанной икрой. Сказать, почему ему стало неудобно дома, он долгое время не мог. Надо было копаться в себе, сопоставлять разные факты, а этого он не любил. Белье, к которому он в данном случае прикоснулся бы, казалось ему таким не свежим!

Между тем, на свои апартаменты ему грех было жаловаться. Благодаря стараниям супруги их трехкомнатная квартира обрела вид респектабельный, говорящий всем и каждому, что у хозяев дома прочное положение, высокий достаток и разносторонние культурные запросы. На кухне ослепляли белизной минский холодильник, самый емкий из выпускаемых отечественной промышленностью, польская газовая плита с чудесным духовым шкафом, польский же кухонный гарнитур (немецкие в продажу не поступали уже два года). В столовой внимание гостя обычно привлекали хивинский ковер ручной работы на всю стену, за который было отдано без переплаты полторы тысячи рублей, сервант, заполненный изысканным японским фарфором и чешским хрусталем, и картина, изображающая гранаты, ломти бухарской дыни с зеленой сочной мякотью и кумган (медный кувшинообразный сосуд для воды с ручкой сбоку) на тяжелой бордовой скатерти. Картина эта создавала странное ощущение присутствия человека, на минуту вышедшего в соседнюю комнату, ощущение того, что у

этого человека нелегкая ноша на душе, ощущение солидарности с ним, разрезавшим дыню и разломившим гранаты, но не сумевшим побороть захлестнувшую его грусть. Все это Олег Федорович осознавал постепенно.

Эту картину кисти Юрия Талдыкина Олег Федорович полюбил, хотя сначала очень разозлился на супругу, когда она приобрела ее. Он привыкал к этому натюрморту изо дня в день, пока не свыкся с ним совершенно. Теперь картина казалась ему единственной действительно стоящей вещью в доме. Человека, который на минуту вышел в соседнюю комнату и которому плохо, он теперь отождествлял с собой: именно он и был этим человеком. И он знал, почему ему плохо. Особняком стоял цветной телевизор, этот неутомимый мистер Говорилкин, или товарищ Говорилкин, беспощадный пожиратель свободного времени.

В спальне, в полумраке, создаваемом тяжелыми малиновыми гардинами, приглушенно блестели полированные плоскости немецкой «стенки». «Стенка» оберегала от пыли тонкое постельное белье и собрания сочинений классиков, к которым Надежда Викторовна была равнодушна, хотя иногда и соглашалась переплачивать за книги с красивыми переплетами. Все, что здесь было, было добротным и ценным, самого высокого качества, и за все это Олег Федорович сполна расплатился своим горбом. Здесь-то, наверное, и крылась его нарастающая нелюбовь к этому обилию красивых нужных и не нужных вещей. Он уже давно страдал от хронического безденежья и долгов, вылезти из которых не мог, как ни старался. Была еще комната дочери, где стояли отличный гардероб румынской работы и радиолы высшего класса «Виктория», услаждавшая слух за семьсот рублей, или за три месячных оклада Конкина.

Было воскресенье.

Надежда Викторовна должна была прийти от портнихи часа через два, дочь отдыхала у матери во Фрунзе, и Олег Федорович один слонялся по квартире. «Как я устал! И – я словно не у себя дома!» – подумал он. Прежде такого не было. Он осознал, что чувствует себя неуютно в родных стенах, вскоре после того, как Ирина приступила к работе во вверенном ему управлении. Да, ему нравилось задерживать на ней взгляд. Молодое неунывающее создание, какие-то свои планы, мечты, фантазии, милая оторванность от матушки-земли, и доброта изначальная, идущая изнутри, а не от кропотливого поиска взаимной выгоды. Ирина и смущала, и влекла к себе. Смущала тем, что он все-таки растерял многое из того хорошего, что теперь ему нравилось в ней. Влекла юностью, первозданной, проснувшейся для всех красотой, которая у нее с милой непосредственностью перерастала в обаяние. Да, она помогла ему разглядеть свою неустроенность.

Прежде все было, как сейчас, а вот неустроенности не было. Кто же тогда внес ее, Надежда или Ирина? «Чудеса! – подумал он. – Я мальчик, я влюбился, а мальчику тридцать шесть, я пятнадцать лет как женат, моя дочка в сентябре пойдет в восьмой класс». Он перенесся памятью в иные времена, когда Надежда была любима им. Училась с ним; ее звали куколкой за хрупкость и законченную, отточенную красоту. Чего только из-за нее не вытворяли парни! Он очень старался, чтобы она заметила, а потом и выделила его. И какое-то время им вместе было очень хорошо, а потом – просто хорошо. А позже все захлестнула обыденность. Неужели это – распутье? Он чувствовал, что способен на решительный шаг, но и знал, как тяжело будет этот шаг совершить. Слишком велико было то, что он называл остаточной деформацией.

«Ира – видение, миф и чудо, – сказал он себе. – Не надо! Переболею, и пусть все зарубцется, наезженная колея привычнее и, значит, милее». Но он говорил себе неправду и знал это. Непорядочно, думал он. Он сам взял Надежду Викторовну в жены, и думать о другой женщине было нечестно, непорядочно. «Семьи чаще всего распадаются на седьмой год», – вспомнилось ему, а он прожил с Надей дважды по семь. Что же, все это перечеркивать? Кроме того, он знал, что его служебное положение пошатнется. Но все это было второстепенным. «Постой, у меня дочка, она сейчас между мной и Надей!» Дочь была частью его самого, и потерять ее, оторваться от нее было никак нельзя. Так-то, Ира, подумал он. Да, обстоятельства выстраивались в силу весьма внушительную. Пофантазировал, повитал в розовом поднебесье, и будет, пора возвратиться на круги своя. Будни без будущего? Пожалуй. Разве он не врос в них, не сжился с ними? Не стал их частью?

Надежда Викторовна приехала от портнихи очень довольная. Два летних шелковых платья были, наконец, готовы. У нее прекрасная, но очень капризная портниха, и если бы он знал, через что ей пришлось пройти! Она покрасовалась перед мужем, разрешая ему разделить ее ликование. Бледно-розовое платье было совершенство, но и облегающее кремовое, другого фасона, ни в чем ему не уступало.

- Мне в этих вещах не больше тридцати, правда? – верещала она, премного собой довольная. Он вынужден был кивнуть. «Умеешь влезть в душу», – подумал он уже без неприязни.

- Представляешь, как точно она кроит? – щебетала супруга. – На прошлой примерке на мне была другая комбинация, более плотная, и она сказала: «Надя, признайтесь, на вас было другое белье?» Вот это класс! Да, я опять без копейки. Подкинь, пожалуйста!

- Ничем не могу помочь, получка в пятницу, – ответил он сразу, словно ждал эту просьбу.

- Достань! – попросила она и прильнула к нему. Он попытался отстраниться.

- Ты совсем не любишь свою Надьку! – сказала она с обидой. – А я у тебя красивая. Не расплылась, как море-океан. В трамвае мне говорят «девушка».

Он опять вынужденно кивнул.

- Ты польщен? Я договорилась, нам сделают паркет. Шестьсот, это ведь по-божески, правда? Ты мог бы повернуть это куда дешевле, даже совсем даром. Но ты выше всего этого. По крайней мере, ты так себя ведешь. Паркет ты хотя бы одобряешь?

- Нет, - сказал он, но без категоричности в голосе. И опять почувствовал, что сильно устал. Боже, как он устал от всего этого! Сейчас он был побежден, а его протест погашен – в который уже раз. «В чем секрет ее обаяния?» – спросил он себя.

- Скажи, что я у тебя хорошая! – попросила Надежда Викторовна.

- Ты очень плохая. Ты великая транжира. У нас пустой холодильник и куча долгов. Я ума не приложу, как нам с ними разделаться

- Не у нас, а у тебя пустой холодильник и куча долгов, - поправила она без тени смущения. – Поработай, возьми что-нибудь левое. Боже мой, да пошевели немного мозгами! Через тебя проходит столько материалов!

- Благодарю за полезный совет. – Руку в карман государства он еще не запуская и знал, что не позволит себе это ни при какой погоде. А другие? Другие могли быть далеко не столь щепетильны, но он за их поведение не отвечал.

- Олег, ты портишься! – сказала она строго. – Ну, как ты можешь не замечать, что я пекусь только о доме и о семье?

- Действительно! Ты просто гениальная женщина, - констатировал он, отводя от супруги взгляд, в котором давно таился холод неодобрения.

15

Василий застал свою старшую сестру Валентину в горьких слезах. Она плакала навзрыд, размазывая слезы по бледным щекам. Женские слезы действовали на него всегда одинаково: он терялся, его поступками начинала двигать жалость, не здравый смысл.

- Валька! Милая! – Он бросился к ней, обнял, погладил по густым кудрям. – Ну, чего ты? Что стряслось-случилось?

Увещевания не подействовали, сестра казалась невменяемой. Поток слез и прерывистые всхлипывания, казалось, не кончатся никогда. «Почему, - причитала она сквозь слезы, - почему все в нашем доме валится на меня, на одну меня?» Он стоял, ошарашенный, подавленный несчастьем сестры. Потом схватил ее за плечи и стал трясти. Он тряс ее грубо, как переполненный куль, который надо было уплотнить перед тем, как взвалить на плечи. «Все я, везде я, кругом я, - бормотала она. – За что, за какие грехи? Без меня никто здесь пола не вымоет, борща не сварит, белья не погладит!»

Она, все же, медленно успокаивалась; неуточный приход брата не позволял выплакаться до конца. Надо было брать себя в руки. Он сел против нее и, пока она успокаивалась, молча ее разглядывал, вспоминал. Он вспоминал свое детство. Вот уж когда он был предоставлен сам себе. Ему, мальчишке, это нравилось, улица и ранняя самостоятельность стала его родной стихией, свобода была почти полная. Благодаря ей он в молодые годы впитал больше, чем надо, от улицы, от таких же бесшабашных сорванцов, как он сам, и меньше, чем надо, от школы, от книг. Тяга к знаниям пришла позже, после армии, после переосмысливания всего и вся. На улице он был заводила, верховодил, его слушались чумазные скорые на расправу и верные в дружбе подростки, ему смотрели в рот, ловя каждое слово. Было в его жизни и такое безмятежное время, он не жалел, хотя теперь знал, что гораздо полезнее было бы, если бы всего этого в его жизни не было вовсе. Ашечки и лянга, лапта и футбол, бесцельное скитание по улицам, а позже по паркам и танцплощадкам – все это не вело к добру. Но у него хватало времени и на школу, спасибо Валентине, тут она была строга.

Школу он кончил, не задержался более положенного ни в одном классе, но если его тройки с редкими всплесками четверок ему нравились, то другим его аттестат зрелости не нравился, а еще более не нравилось его бандитское лицо с глубоким лиловым шрамом. Тогда он не задумывался над тем, почему растет не как другие, почему в его жизни так мало места занимают мать, отец. Отец еще влиял на него своими рассказами, любовью к профессии, незлобивостью. Но занятость отца (один работник на пять ртов), постоянная потребность прирабатывать делали Павла Герасимовича отцом приходящим. Часто, поужинав, он ложился спать, не произнеся ни слова. И Василий рос сам по себе. Только армия по-настоящему открыла ему глаза на жизнь. Справедливым, правда, он был и до армии (как ни странно, справедливым его сделала улица), и хамство и наглость казались ему худшими из пороков. Армия с избытком дала ему все то, чего не смогла дать школа, вернее, чего он, подросток, по своей ветрености не взял от школы. Если он легко довольствовался такой жизнью, если он находил в ней свои радости, то Валентина пробовала протестовать, но у нее у одной плохо получалось.

Теперь, глядя на зареванную сестру, он вспомнил, что в те далекие уже годы накрывала на стол чаще всего она, и стирала ему рубашки чаще всего она, и брюки гладила она. Тогда он не замечал этого, это было в порядке вещей, и из всего этого у него выросло к ней уважение: она все может, она опора, она молодец. На

каждые плечи, однако, можно взвалить лишь определенную ношу. Ее же ноша уже давно была предельной. А в семье этого не видели, в упор не замечали, и он не видел.

Поняв, что он ее жалеет, Валентина крикнула: «Весь дом на мне – почему? Мать смотрела за Таней, и врач сказала, что у девочки началось воспаление легких. Третья пневмония, что же будет с ребенком? Девочка так слаба! Еще вчера у нее была легкая простуда, слабый кашель. Я сказала матери: «Вот лекарство, дай ей в полдень и в четыре часа». Разве это трудно? Не дала. Да чужой человек не забыл бы, чужой человек не счел бы за труд, а она... Теперь придется сидеть дома. И Альбину просила проследить, мать может забыть. Куда там! Хвост трубой – поехала купаться. Ей что? Почему у нас каждый только для себя? Почему я, приходя домой в восемь, должна еще и обед готовить, а в воскресенье обстирывать всех? Один отец иногда пожарит полный противень своей любимой картошки, – я так не умею. Но ведь это редко! Нет, буду добиваться квартиры, буду жить одна!»

- Самое лучшее! – только и сказал Василий.

- Ты-то трудолюбив, ты, как я. Ты мне помощник. Отец тоже трудолюбив, но по-своему, дома от его трудолюбия проку мало, весь его мир вокруг верстака. Ему все равно, прибрано ли в доме, приготовлен ли обед. Счастлива будет та женщина, которая станет твоей женой, Вася. А Алька? Ни до чего не дотрагивается, лифчика себе не стирает. Красива, но ведь пустоцвет. И все мать! Это все ее равнодушие, ее заразительный пример! Как ей будет тяжело, если она полюбит нормального человека!

- Альке ненавистен наш дом, - сказал он. – Она, может быть, и помогала бы, и старалась, если бы все старались. «У Валентины Танька, - говорит она, - пусть вертится, заслужила!»

- Это слова матери, я даже интонации угадываю. Пусть у меня Танечка, пусть у меня жизнь не сложилась. Так у нее нас трое, и всем нам нужна ее забота, может быть, больше, чем в детстве. Почему другие идут домой с радостью, а я лишена этого? Отец всегда полупьян и занят. Прежде он не был таким, вино его преждевременно старит. Что с ним будет, если он останется один с матерью? Или ему давно заменили семью деревяшки и портвейн?

- Я всегда помню мать такой, какая она сейчас, - сказал Василий. – А ты?

- И я. Ты и Альбина росли неухоженные, как дички. Твои пеленки я еще не могла стирать, а Алькиных настиралась, поверь. Отец говорит, что мать надорвалась, работая в войну в литейном цехе. Но женился-то он на ней после войны! Раз не нужны тебе дети, не любишь их, – не рожай! Ну, роди одного и останись. Нет, родила троих, и все росли, как васильки в поле.

- Сейчас мы об этом поговорим.

- Бесполезно. Я спорила, убеждала, грозила. Больно только мне, не ей. Не верю я, что она в войну надорвалась. Человек с ее характером не мог надорваться. Не работала она так, чтобы надорваться.

- А мы не маленькие. Мы поставим их перед выбором: или семья, или одиночество.

- Надорвалась! Ах, несчастная, ах, бедненькая! А по десять километров моциона в день проходить для поддержания своего драгоценного здоровья – это ей не в тягость?

- Я этого не знал.

- Ты мужчина, ты многого не замечаешь. И потом, ты не был в моем положении. Вспомни, как я два года училась и работала ночной нянечкой в детском саду. Я и тогда по дому все делала. С ног валилась, тень была, не человек, но терпела. Только ты, школьник, и помогал.

- Алька тогда не была белоручкой.

Валентина согласилась. «В детстве мы лучше держались друг за друга, - сказала она. – В детстве мы были добрее, но с каждым годом отъединяемся, замыкаемся в себе».

- Успокойся. В детстве ты нам была, как мать. И покормишь, и уроки проверишь, и градусник поставишь. – Он добродушно рассмеялся, но на душе скреблись черные кошки. Пришла Альбина. У нее был ровный шоколадный загар, очень броский. Прошмыгнув на кухню, она подняла крышку одной кастрюли, второй. В обеих было пусто. Презрительная гримаса поведала миру, что она подумала на сей счет.

- Аля! – позвал брат. – Подойди, сядь с нами. Кстати, почему в кастрюлях пусто?

Альбина села и сказала с предельной откровенностью: «Не мое дело, я не нанималась вам готовить».

- А Валентина нанималась тебе готовить?

Аля чуть-чуть скривила уголки губ. Оттенки пренебрежения она умела выражать превосходно.

- Высокомерна ты, сестричка. Ты знаешь, что я сказал твоей Лоре? Когда дал ей от ворот поворот? Сказал, что она жалкая грязнуля. А Лора во всем повторяет тебя. Или ты во всем повторяешь ее.

- Спасибо за науку. Воспитывайте, воспитывайте! – сказала Альбина. – А Лору ты обидел напрасно, и тебе еще будет стыдно. Где же предки? Можете и их подключить, они тоже бывают сильны по части морали. Хотя их самих давно следовало бы повоспитывать!

- А что, сейчас попробуем. Мысль твоя любопытна. – Он прошел на веранду, привел за руку отца, почти силой усадил за стол. Потом спустился во двор, взял за руку мать, оторвал от любимой скамеечки и так же молча, как провинившуюся, повел на пятый этаж.

- Мне еще рано, - запротестовала Анастасия Леонтьевна, - я гуляю!

- Иди! – грубо сказал он. – Или у тебя ничего нет, кроме любимой скамейки и твоих бездельников-пенсионеров?

- Мы на заслуженном отдыхе. Имеем право.

- А я на трудовой вахте и тоже имею право! – Он усадил мять на пятый стул. – Прошу внимания, Павел Герасимович. Будь любезна, Анастасия Леонтьевна! Почему ваша дочь Валентина Павловна в слезах горьких?

- Я тебе не Павел Герасимович, а отец! – насупился глава семьи. Мать ухмыльнулась, давая понять, что она и сейчас себе на уме, что критика и сейчас не поколеблет ее устоев. Затем лицо ее приняло обычное постное выражение, глаза сделались холодными, далекими, выжидающими, и она ушла в себя, в свой постоянный мир, центром которого была она сама, и в котором если и было что-то еще, то весьма и весьма незначительное и в отдалении от нее.

- Павел Герасимович, Анастасия Леонтьевна! Вы мне отец и мать, но очень может статься, что скоро вы будете для меня только Павлом Герасимовичем и Анастасией Леонтьевной, без родительской власти надо мной и без моей сыновней любви к вам.

Павел Герасимович встрепенулся, но, внезапно осознав серьезность минуты, не стал ершиться.

- И ты, уважаемая сестрица Альбина, слушай меня внимательно, я к тебе тоже обращаюсь.

Альбина привстала, сделала глубокий реверанс и села.

- Спасибо, милочка. Только когда тебе захочется сделать следующий реверанс, учти, пожалуйста, что от меня зависит, будет или не будет у тебя очередное сверхмодняцкое... - он не нашел подходящего слова, - ну, это самое кримпленовое платье. Так вот, уважаемые Павел Герасимович, Анастасия Леонтьевна и сестра Алечка! Почему мы, придя с работы, сидим сейчас за пустым столом? Почему наш холодильник полон, в доме достаточно мяса, картошки, круп и всякого съестного припаса, а в кастрюлях пусто? Откуда такое неуважение к нам, работникам? Что, уважаемый глава семьи, скажешь-ответишь по сути поднятого мной вопроса?

- Соплив еще спрашивать! – буркнул отец.

- Это не ответ. Мы можем, Павел Герасимович, пожать друг другу ручки и разойтись навсегда. Я к этому готов, и Валентина готова. Аля об этом только и мечтает. Пусть я соплив еще задавать некоторые вопросы, а тебе, папа, непроситительно превращать семью в общежитие, мириться с тем, что здесь каждый за себя и для себя, а семьей и не пахнет! Прояви же мужскую твердость! Укажи каждому его часть семейных забот, потребуй исполнения. Убери отсюда свой верстак, он нам давно не нужен, от него по дому разобшение идет. Сам, в конце концов, будь здесь, как дома, а не как в общежитии. С этого, пожалуйста, и начни.

Павел Герасимович низко наклонил повинную голову.

- Уважаемая Анастасия Леонтьевна! Ты целый день дома, ты, как принято говорить, домохозяйка. То есть, ответчица за быт семьи. За то, чтобы каждый здесь был сыт, чисто одет, обогрет родительским вниманием. Почему ты отстранилась от всех этих обязанностей? Почему не готовишь нам?

- Я больна. Я на заслуженном отдыхе.

- Гость бы поверил тебе. Откроешь дверцу шифоньера – сыпется лавина лекарств, которая может сбить с ног и здорового. Коробочкам и пузырькам тесно на шести полках. Ты глотаешь лекарства килограммами и при этом не знаешь, от чего. Я думал, ты больна и несчастна. Сходил к твоим врачам, справился, как и что, нужен ли тебе режим, нужна ли консультация у профессора. Врачи в один голос заявили, что дай Бог всем в твоем возрасте выглядеть так, как выглядишь ты. Они в один голос заявили, что ты практически здорова. Позволь, мама, сказать тебе грубую правду: ты абсолютно здорова, твоя болезнь – лень и равнодушие. Твоя лень разваливает семью. Ты даже не дала сегодня лекарства внучке, даже это тебе было трудно сделать.

- В двенадцать я гуляла, а в четыре спала. Я не могу нарушать режим.

- Но ты могла бы дать лекарство хотя бы один раз, после гулянья и перед сном?

Анастасия Леонтьевна, ухмыльнувшись, опустила голову.

- И так ли трудно приготовить к вечеру хотя бы одно блюдо? Только не говори, что у тебя болят руки и что у тебя режим.

- Мама, ты никогда никого не любила, кроме себя, - сказала Валентина. – И ты, папа, потакал этому. Ты не говорил ей о долге перед семьей. Мама и в детстве о нас мало заботилась.

Отец еще ниже наклонил голову.

- А ты, Алечка! Тебя тоже попросили посмотреть за ребенком. А ты как поступила? Ты самоустранилась. Подняла паруса, и полный вперед! И Валентина, и я хорошо к тебе относимся, в просьбах не отказываем, балуем. Разве не принято в ответ тоже дарить что-то хорошее?

- Я хочу уйти от вас! – вдруг крикнула девушка. – Тут мне плохо, тут у меня даже угла своего нет! Тут мне вы все, все чужие! Тут меня не понимают!

Тут тебе лучше, чем мне, - сказал Василий. – У тебя свой угол на веранде – кровать и письменный стол, и полки с книгами. У меня же только раскладушка в общей комнате.

- Меня друзья позвали купаться.

- Оставь ее, не в ней дело! – зло бросила Валентина. – Плохо то, что в ней здесь убили чуткость и нежность и доброту. А без всего этого она не сможет твердо стоять на ногах. Без всего этого она получеловек, вот что плохо.

- Нам с Валентиной надоело, что мы все здесь чужие. Мы решили положить этому конец. Семья, - это общие радости и общие заботы, но не общее безделье. Уважаемые родители! Идите сейчас к себе и обдумайте вдвоем то, что мы вам сказали. Если вам лучше жить без нас, взрослых детей, - пожалуйста! Я куплю Валентине кооперативную квартиру, и мы станем жить отдельно.

Павел Герасимович поднялся, за ним поднялась Анастасия Леонтьевна. Они направились к себе. У главы семьи была решительная походка. В дверях Анастасия Леонтьевна замешкалась и медленно оглянулась. Ее хитрый, с прищуром взгляд был очень выразителен. Но в нем уже было запечатлено осознание вины.

- Очаг, погашенный своими руками, наверное, самое горькое, что бывает на свете, - сказала Валентина. – Давайте остановимся, пока еще есть время, и возьмемся за руки, как поется в одной неплохой песне, которую часто передают по радио и телевидению.

- Конечно, давайте! А ты, Аля, тоже постарайся извлечь что-нибудь путное из этого разговора. Теперь можешь делать свой реверанс, я не лишу тебя модного платья.

Девушка посмотрела на него гордо и серьезно-серьезно. Тогда он подошел к ней вплотную и, разряжая обстановку, присел, хлопнул себя по колену и прошепелявил: «Опа! Гопа! Какая ты растрепала!» И на корточки присел, словно в пляс собрался пуститься.

Заснул он, однако, не скоро. Ворочался и ворочался на хрупкой раскладушке. Ему было то жарко, то жестко, то простыни казались несвежими. Ему было не по себе. Но все это было лишь следствие тягостного разговора. Впервые, и притом с полным сознанием своей правоты, он говорил с родителями столь твердо, впервые высказал им столь серьезные обвинения. Решиться на это было не легко. Мать, отец. Он не думал, хороши они или плохи. Это были его мать и его отец, и он принимал их такими, какими они были. Теперь, во имя мира в семье, во имя ее целостности он поднимал на них руку. Не нарушил ли он сыновнего долга? Умея довольствоваться малым, он не предъявлял родителям больших претензий. Точнее, он не предъявлял им никаких претензий. Иное дело Валентина. У нее дочь и обилие забот, и среди них такая огромная – как остаться красивой, привлекательной. Как найти свою половину, которая пока от нее ускользала. Ей нужна помощь, ее рук на весь большой дом не хватает. Значит, она права. Значит, правы они оба, напоминая матери и отцу, что их родительский долг до конца еще не исполнен. Так он рассуждал, и ему все время было жалко отца, большого труженика. Укрепление семьи могло произойти только по воле отца; на помощь матери ни Василий, ни Валентина не рассчитывали.

На следующий день, впервые за последние годы, завтрак был готов к семи утра. Первыми завтракали мужчины. О вчерашнем разговоре не было произнесено ни слова. Творцами этого раннего завтрака были Альбина и Павел Герасимович. Завтрак был простой, но вкусный и сытный - жареная картошка, политая яйцами и посыпанная зеленым лучком и укропом. А мать поднялась, как всегда, в девять, но к возвращению кормильцев приготовила борщ, на удивление вкусный. Но все в ее поведении говорило, на какую великую жертву она пошла. И Василий подумал, что если семья и получила передышку, то это ненадолго.

16

Начальнику участка Прохорову Г.Е. от строительного мастера
Пеночкиной И.И.

РАПОРТ.

Довожу до вашего сведения, что комплексная бригада Соколова В.П. в составе 16 человек, взявшая подряд на возведение главного корпуса завода солнцезащитных устройств «Жалюзи», применив передовые приемы труда, перевыполнила задание июля-августа и сейчас опережает совмещенный график работ на одну неделю. За июль-август произведено строительно-монтажных работ на 266 тысяч рублей при общей сумме подряда 1,4 миллиона рублей. Забетонировано 60 % фундаментов, смонтировано 40 % колонн, ригелей и ферм, уложено 30 % плит перекрытия. Работы ведутся поточным методом, обеспеченность материалами и конструкциями ритмичная и достаточная.

Выработка на одного рабочего превысила 4000 рублей в месяц, что составляет 190 % к плану. Суммируя вышеприведенное, считаю, что метод хозрасчетного подряда, примененный при возведении данного промышленного объекта, себя оправдал. Можно рассчитывать на существенное сокращение сроков строительства и снижение себестоимости работ. Обращаю ваше внимание на отсутствие в течение июля-августа каких-либо нарушений трудовой дисциплины, а также на то, что в бригаде царит атмосфера здорового трудового соперничества и взаимной помощи.

Обращаю также ваше внимание на отставание работ нулевого цикла, выполняемых специализированными трестами «Сантехгазмонтаж» и «Электромонтаж». Прошу принять меры.

И. Пеночкина.

«Ну, накрутила баба! – подумал Геннадий Емельянович. – Не рапорт – поэма! Экая восторженность! За это полагается девочке шоколадка».

Рапорту ход надлежало дать самый широкий, и, поразмыслив и покрутив близ уха шариковую ручку, Прохоров, при органической нелюбви ко всякой писанине, заставил себя нацарапать:

Начальнику СМУ Конкину О. Ф. от начальника участка
Прохорова Г.Е.

РАПОРТ.

Довожу до вашего сведения, что комплексная бригада Соколова В.П. работающая на сооружении объектов завода «Жалюзи» по методу подряда, добилась в июле-августе первого крупного успеха. Фактическая сторона дела отражена в рапорте строительного мастера Пеночкиной И.И. который прилагаю. Учитывая большие персональные заслуги строительного мастера Пеночкиной И.И. в успешном внедрении подряда и проявленную при этом инициативу, прошу изыскать возможность для материального поощрения тов. Пеночкиной И.И.

Г. Прохоров.

Это донесение очень обрадовало начальника СМУ Олега Федоровича Конкина, который, улыбнувшись чему-то своему, извлек из глубоких недр стола белый лист бумаги и застрочил:

ПРИКАЗ по СМУ №... от...

За успешное внедрение на объектах завода «Жалюзи» новейших методов организации труда – хозрасчетного подряда и проявленную при этом инициативу и добросовестность премировать начальника участка Прохорова Г. Е. и строительного мастера Пеночкину И.И. месячным окладом. Начальникам участков и производителям работ внимательно изучить опыт внедрения подряда на участке тов. Прохорова Г. Е. с целью его практического применения.

Начальник СМУ №... Конкин О. Ф.

Над вторым листом бумаги он просидел дольше.

Управляющему трестом Иноятову Ю.Х. от
начальника СМУ Конкина О. Ф.

РАПОРТ.

Довожу до вашего сведения, что комплексная бригада Соколова В.П. в составе 16 человек, работающая на строительстве главного корпуса завода «Жалюзи» по методу подряда, применила передовые приемы труда и перевыполнила задание июля-августа, опередив совмещенный график работ на одну неделю. Достигнута рекордная по управлению месячная выработка на одного рабочего – более 4000 рублей. За июль-август бригада выполнила 19 % от объема работ, предусмотренного подрядом. Широко ведется монтаж с колес, исключая промежуточное складирование деталей. Метод подряда, примененный в управлении при возведении промышленного объекта впервые, оправдывает себя целиком. В бригаде четко организовано соревнование, каждым рабочим приняты высокие индивидуальные обязательства. Принимаю меры для широкого распространения передового опыта бригады Соколова В.П.

О. Конкин.

Юсуп Халилович Иноятов, весьма довольный положенным на его стол документом, аккуратно переписал рапорт Конкина О.Ф. усилив его политическую часть и то, что касалось организации социалистического соревнования и добавив абзац о том, что подряд будет широко внедряться во всех подразделениях треста, велел быстро перепечатать документ на бланке треста, вложил его в кожаную папочку, изготовленную в нескольких экземплярах по специальному заказу, и, не положившись на курьера, сам повез победную реляцию в министерство строительства республики. Он знал, как редко такие документы ложатся на стол министра. Вернулся он еще более довольный, чем уезжал. И быстро, уже не задумываясь над стилем, написал приказ о

премировании начальника СМУ Конкина О. Ф. месячным окладом за внедрение передовых методов организации труда.

Этот водитель несколько раз подходил к Ирине Ивановне с корыстными предложениями. Высокий, худой, смуглый, почти черный от прилипшего к нему солнца, он держался нагло, и более всего Ирину Ивановну смущало то, что наглость его была естественной, шла, что называется, изнутри, была составной частью его плоти и крови. Он возил на площадку гравий. Сначала он попросил Пеночкину прибавить ему одну ходку. «Как так?» – взвилась она. «За красивые глаза!» – пояснил он и не отвел взгляда. Потом, когда это не подействовало, уже в другой раз сказал, что разгрузил самосвал в ее отсутствие. Все видели, а ее не было на месте, и надо подписать накладную, без этого он не уедет.

- Где виза бригадира? – спросила она. Соколову в этих вещах она доверяла полностью.

- Ну, подпиши, ты, или...

- Что – или? – твердо произнесла она, вернула ему накладную и пошла прочь. От великого сознания своей правоты ей даже не было страшно. Теперь этот водитель вновь протягивал ей старую накладную и вторую, тоже липовую, со словами: «За тобой должок – четыре ходки!» Он был очень нагл и верил в свою силу, а рядом стояли другие водители, числом пятеро, внешне безучастные, но выжидавшие, чем кончится это дело.

- Я подписываю только те накладные, по которым сама принимаю материалы или где есть виза бригадира.

Водитель схватил ее за белую руку: «На духи отвалою, чего там!»

Она видела его наглые красные глаза, ей было больно. Она молчала, обидчик медленно к ней наклонялся. Потом он перестал наклоняться, хватка его ослабла. Она увидела на его черной шее красную мясистую ладонь. Ладонь сдавливала горло, глаза водителя, утрачивая наглость, полезли из орбит. Василий Соколов нависал сбоку и чуть-чуть сзади. Он развернул водителя к себе и брезгливо толкнул. Пролетев метра три, тот шмякнулся в пыль.

- Я таких быю пачками и укладываю в штабель, - прошепелявил Соколов. Гримаса блатная легла на его лицо, довершая впечатление. Она предназначалась для других водителей, которые все еще сохраняли нейтралитет. – Кому еще чего-то не ясно? Кто хочет быть следующим? Мотайте на ус: приписок здесь не было, нет и не будет!

Наглец побежал к своей машине, на бегу массируя себе шею. Странно, но он даже не ругался. Тут же растворились в кабинах своих грузовиков другие шоферы.

Инцидент был исчерпан, Ирина Ивановна улыбнулась своему защитнику.

- Вы таких бьете пачками и укладываете в штабель? – переспросила она.

- Вот именно!

- Спасибо. Я бы сама, я умею.

- За это нельзя благодарить, - вдруг убежденно сказал он. – Это в порядке вещей. Это, понимаете, должно быть в человеке, должно быть чертой его характера. Как же иначе себя уважать?

- Все равно, люди гораздо чаще не заступаются за слабых.

- А я заступаюсь. Шрам ношу на память об одном таком деле. Чем не медаль? Пять годочков назад это было, в парке Тельмана, на танцах. Их было трое, пьяных и хамовитых. И была одна гордая девушка, которая несколько раз сказала им «нет». И был я, которому силенки не занимать. Громила! Один ее хрясть по лицу! Ну, я сразу отправил его на пол. Потом ему челюсть в стоматологии вправляли. И двоих других тоже обломал, а они меня ножичком слегка ковырнули. И никогда не буду спокойно смотреть, как сильный ломает слабого, но правого. Не должно ничему такому быть среди нас, несправедно это.

- Вот вы какой!

- А вы разве не такая? Вы ведь тоже не уступили. Нет, и весь разговор. Он ведь сначала об вашу твердость спотыкнулся, я уже потом ему от себя добавил. Я как тот прокурор, который добавляет, если мало!

Она посмотрела на него пытливо, снизу вверх, открывая в нем новое. Его шрам и раньше казался ей украшением. Теперь она увидела, какое у него мужественное лицо. Он ушел, она стала разбираться в новых своих впечатлениях. Ей понравилось то, что он не дал ее в обиду, и то, что не давать в обиду слабых, оказывается, его жизненное правило. Она считала его грубее и приземленнее, а теперь видела, что его мир во многом похож на ее. Она невольно поставила на место Соколова Прохорова, а потом Конкина. Прохоров, пожалуй, тоже бы вмешался, а Конкин? Думать о Конкине было сложно, в нем разных сюрпризов таилось больше, чем в любом другом знакомом ей человеке. Иное дело Соколов, его бригада.

«Я тоже для них стараюсь», - подумала она. Действительно, так и было. Материалы, механизмы, одна инстанция, вторая, третья – для нее не существовало закрытых дверей, и не раз Конкин говорил ей без тени укора: «На тебя опять жалоба. Еще одного столоначальника довела до белого каления. Ты что, непредсказуема? Ну, чего ты к ним с нашими делами суешься? Не уразумела, что ли, что они и мы – из разных миров?»

Почти половину своего рабочего времени она тратила на всевозможные снабженческие операции – достать, добыть, получить, привезти. Прохоров в этих делах был недостаточно расторопен, хотя прекрасно знал все ходы и выходы. Он не жаловал людей, к которым приходилось обращаться за содействием, и потому всегда медлил, стараясь переложить на нее эту часть своих обязанностей. Ей же перекладывать эту ношу было не на кого, и она сама вела большие и маленькие сражения за бетонную смесь и самосвалы для ее транспортировки, за стеновые панели и так далее, так далее. Пока ей сопутствовал успех. Она, однако, чувствовала и твердую руку Иноятова. Очень часто ей достаточно было сказать, что она хлопочет о подрядной бригаде, и сразу появлялось то, в чем минутой до этого ей отказывали.

Днем она не задавала себе вопроса: «Почему?» А вечером, размышляя в тишине, видела, что это несправедливо, что непорядок выделять одну бригаду в ущерб другим, что тепличные условия – не надежный фундамент для распространения передового начинания. Однако то, от чего хромало огромное большинство строек, – неупорядоченное материально-техническое обеспечение, было вне пределов ее компетенции. Она подавала голос, конечно, но кто его различал в многотысячном хоре подобных голосов?

Пока же она во всю старалась для Соколова, то есть для своего завода «Жалюзи», и радовалась контейнерам с итальянским оборудованием, которое складировали на специальной площадке, и радовалась той быстроте, с какой рос каркас главного корпуса и приближалось время монтажа технологических линий. Как-то пожаловал фоторепортер из городской газеты. Ее заботами Соколов оказался на первом плане. Потом на снимке шрам тщательно заретушировали и пририсовали галстук. Галстук при брезентовой робе выглядел нелепо, и Василию с улыбкой говорили: «Вот какой ты у нас джентльмен! Ты, оказывается, при галстукке бетонную смесь вибрируешь, и он у тебя чистым остается! Научи, как ты до такой жизни дошел?»

В другой раз она привела инженеров из чужих строительных управлений, и они дотошно выпытывали у Соколова, как и что. Скучать она ему не давала. Как и он ей своими бесконечными, никогда не кончающимися и никогда не уменьшающимися нуждами. Бригада, поняла она, это ребенок, которого все время нужно кормить – материалами и всем тем, что необходимо стройке. Роль заботливой, расторопной мамы ей нравилась. Обстоятельства пока неизменно благоприятствовали ей, но, за неимением опыта, ей казалось, что так будет всегда, и ветер удачи – в ее парусах.

18

Дело было почти пустяковое, и Ирина Ивановна удивилась несоответствию между срочностью вызова и обстоятельствами дела, не требующими спешки и даже ее личного присутствия. Это ее кольнуло, и, размышляя об этом в троллейбусе, она догадывалась, что крылось за вызовом в контору управления. Олег Федорович Конкин собирался сказать ей, что...

Робея, она прошла мимо дебелой секретарши. Олег Федорович просматривал наряды бригады Соколова, предъявленные ею к оплате. У рабочих Василия Павловича был рекордный заработок. Второй месяц они шли впереди и по зарплате, причем масштабы этого опережения у многих вызывали глухую зависть. «Не перегибаем ли палку? - спросил ее Олег Федорович. – Пусть лучше Соколов имеет что-то в резерве, время наибольшего благоприятствования может кончиться очень неожиданно».

- Можно, я учту ваше пожелание при составлении нарядов за сентябрь? – попросила она. – Августовский заработок пусть идет в этом объеме, люди уже оповещены, что хорошо получат. Мне будет неудобно перед ними за шаг назад, с ними не согласованный!

- Можно, - сразу согласился он, и она опять подумала, что о такой малости они могли бы переговорить по телефону. «Пройдемся, - предложил он, - конец дня, контора что-то давит».

- Я спешу! – попыталась вывернуться она. У нее замерло сердце.

- Для меня это важно.

«Сейчас, - решила она. – Хорошо, пусть».

- Меня сегодня не будет, - сказал Конкин секретарше. Они вышли на широкую Фархадскую улицу. Сухой горячий воздух был напоит запахами асфальта и автомобилей. Из синего марева выныривали самолеты, ориентировавшиеся на створ посадочной полосы близкого аэропорта. Олег Федорович повел Ирину Ивановну направо. Они остановились на новом мосту через канал Бурджар, текущий в глубоком лессовом каньоне. Серая вода была такого же цвета, как и отвесные берега. Деревья, лепившиеся и внизу, у воды, и над обрывом, придавали этой части пейзажа не городской, диковатый вид. Ирина Ивановна упорно смотрела вниз, на серую воду. Ожидание всей своей тяжестью давило на ее плечи. Она ждала его слов, как удара. Но с каждым мгновением в ней росло желание защититься. Она перевела глаза на Олега Федоровича, и он, чувствуя ее предостерегающий взгляд, боялся начать. Наконец, он заставил себя говорить. И он сказал:

- Я люблю тебя!

- Нет! – выкрикнула она громко. Повернула к нему пылающее лицо. – Как вы могли мне сказать это? Вы, женатый человек?

- Выслушай, пожалуйста! Хотя, если тебе неприятно...
- Мне хорошо!
- Вот, видишь. – Он усмехнулся. – Я сказал только то, что ты, надеюсь, уже и так поняла. Я проверил себя и убедился. С Надеждой Викторовной я разведусь. Это решено, это железно. Сама процедура не займет много времени. Выходи за меня замуж!

«Прямо сейчас?» – хотела спросить она, но сдержалась и промолчала. Сарказм был неуместен. Он не обманывает, вдруг подумала она. Стало трудно дышать. Она молчала и ждала пояснений. Тяжесть, давившая на ее плечи, усиливалась.

- Ты мне понравилась с первого взгляда. Это было, как озарение. Ты вошла, словно белый голубь ворвался в кабинет. На расстоянии было слышно, как бьется твое сердце. Я ничего тогда не подумал, но был рад. Легко тебе со мной не будет, об этом предупреждаю заранее. Но я постараюсь, чтобы тебе было хорошо. Костыми лягу, чтобы тебе было хорошо!

- Нужна еще одна малость. Нужно, чтобы и я любила. Нужно, чтобы я верила в вас, единственного. Чтобы вы заслонили собой других. Чтобы вы снились мне.

- Так много? В таком случае, тебе нужно найти кувшин с волшебником-джинном. Я не умею и не люблю заслонять собой. Это было бы посягательством на свободу твоей личности.

Он вдруг замолчал, поник; роли переменялись. У него были очень усталые глаза на продолговатом, как маска, лице. Сейчас он меня схватит, стиснет, швырнет вниз, подумала она. Он не шевелился. На него нашло оцепенение.

- Сказать вам, что будет? Слезы Надежды Викторовны сначала поколеблют вашу решимость, а потом разобьют ее. Вы отступите. Вы пожалеете о тех словах, которые сейчас произнесли.

- Никогда! Ты меня не знаешь! – воскликнул он с жаром.

- Подождите, пожалуйста. Я... Я не могу вам сейчас ничего сказать. Вы говорите тоже не то, что чувствуете. Любите... Нет, нет! Вы ищете выхода. Поверьте, ваш выход – это не я.

Как строго, подумала она, словно наблюдая за собой со стороны, словно любясь собой, своей непреклонностью. Он мне дорог, вдруг подумала она совсем другое. Он не чужой, не чужой! Скажи еще раз, что любишь, мысленно приказала она, но он не услышал. Ну, скажи! «Я совсем не готова выслушать это», - сказала она себе. Она отвечала не так, как нужно. Очевидно, он смог прочитать на ее лице что-то новое для себя. Он же посмотрел на нее внимательно-внимательно, словно заново узнавая. «Любопытно!» – сказал он. Маска слетела с его лица, отразилась борьба противоречивых чувств.

Не в силах сладить с собой, он вдруг повернулся и зашагал прочь. Не простился, не оглянулся ни разу. Она стояла. Тяжесть, лежавшая на ее плечах, теперь была очень велика. Решимость дерзить и подавлять, однако, сменилась растерянностью и грустью. Но это не было боязнью пропустить свой шанс. Вчера она знала: это не ее шанс. А сегодня? Но было и другое. Теперь она жалела Олега Федоровича. Она все еще видела его нескладную удаляющуюся фигуру. Тротуар был пуст, и она следила за Конкиным долго. Кого же я люблю, наконец, спросила она себя. Ответа не было, распутье казалось бесконечным. Но было волнение, подступающее к горлу. Она словно силилась разглядеть в себе что-то смутное, негромкое, еще не имеющее над ней никакой власти, а только нарождающееся, маленькое, но уже свое, кровное. Солнце клонилось к закату, ее ждали дома. Она пошла по направлению к улице Шота Руставели. Тяжесть стала спадать с ее плеч, и это новое ощущение свободы и легкости ей нравилось.

Свобода, сказала она себе, ускоряя шаг. А как же он, подумала она с чисто женским беспокойством. Что он теперь, ведь я раздавила его? Зачем я была так жестока и несправедлива?

Она остановилась, до конторы отсюда было недалеко. Что это она о себе возомнила? Дикость какая. Теперь она видела, что все эти дни Конкин внимательно и ненавязчиво опекал ее, и это помогало ей трудиться с полной отдачей. «Ты понравилась мне с первого дня!» Услышать это было приятно. Значит, она может понравиться с первого взгляда. Она всегда мечтала, чтобы ее полюбили с первого взгляда. Но теперь, когда это случилось... Она решительно направилась к конторе. Секретарши в приемной уже не было. Она приоткрыла обитую коленкором дверь. Он смотрел на нее, подавшись вперед, взъерошенный и недобрый.

- Я подумаю над сказанным вами, - оповестила она, не входя. Он встрепенулся, но она жестом велела ему сидеть. – Все. До свидания, Олег Федорович!

Теперь ей стало совсем легко. Теперь ее не угнетало чувство, что она обидела хорошего человека. Она ехала домой, щеки ее пылали, взгляд блуждал, ни на чем не задерживался, и в трамвае на нее оглядывались. Не об Олеге Федоровиче думала она, а о себе. Его она понимала гораздо лучше, чем себя.

Дома опять все были недовольны друг другом, опять взводились тугие курки и накопало раздражение, и Василий поспешил уехать. В это воскресенье с утра ему чего-то не хватало. Сначала он подумал: стройки.

Должно быть, ему не хватало его разбитных ребят, с которыми было так хорошо ворочать дела, не хватало напряжения, и ритма, и дерзания, которыми стали полны его рабочие будни. Подумав так, он увидел, что обманывает себя, что и ребята, и стройка со всеми ее атрибутами ему, конечно, необходимы, для нормального самочувствия, но сегодня они ничего не поправят. Очень скоро он понял: ему плохо потому, что сегодня он не увидит Ирину Ивановну. Если бы объявили аврал, он бы обрадовался, хотя был решительным противником сверхурочных работ. Он бы увидел ее на площадке, это была бы награда.

Других желаний не возникало. Увидеть, и все. Как бы она сегодня оделась? Ему нравилось, когда она надевала синее свободное платье. И в рабочих защитного цвета брюках она тоже нравилась ему, но в синем платье, ему казалось, она приходит не только на работу, но и на свидание с ним. «Наяда!» – прошептал он. А мотоцикл мчался вперед, и рядом несся поток машин, теплый воздух был ощутимо плотен, сентябрь прикоснулся желтыми руками к акациям и кленам, дворники сметали листья в огромные кучи и поджигали их, хотя это и запрещалось, и едкий сиреневый дым стлался низом.

Он выехал на широкую кольцевую дорогу. Налево – Сергили и его объект, направо – западные малознакомые окраины Ташкента. Он повернул направо. Интересно, думал он. Нежданно-негаданно и интересно. Еще вчера он подолгу задерживал взгляд на каждой статной женской фигурке. И эта была хороша, и та, и третья, и десятая. Столько вокруг было хорошеньких, но вот какая из них самая-самая? Не робей, Вася! Действуй, Вася! Про Ирину Ивановну вчера ему не было ясно ничего, это сущая правда. Он думал о ней и вчера, но только как о помощнице в его начинаниях, как о верном союзнике. И то, что она была еще и статна, и хороша собой, и умна, и обладала массой других достоинств, которые все не перечислишь, до поры до времени заслонялось главным: она была помощник. Она делала то, что в его представлении было сугубо мужским делом. Нет, не сразу, не в первый день увидел он в ней обаятельную женщину, не сразу ее достоинства превратились в притяжение необыкновенной силы.

Но это и лучше, что поздно: прежде он узнал ей цену как единомышленнику и человеку. Он подумал, что она могла быть и не так хороша, могла быть совсем не хороша, он бы выделил ее и такую, ведь женятся не на одних писанных красавицах. Он бы выделил ее только за то, что она с ним и за него, и его начинание для нее тоже очень важно. Еще он подумал, что есть женщины, которых выделяешь сразу. Они яркие, они созданы, чтобы блистать, кружить головы, а вне этого они беспомощны и никчемны. И ладно, подумал он, каждому свое, каждый хорош на своем поприще, и если женщине дано только воодушевлять и воспламенять мужчину, это уже прекрасно. Вот Лора, яркая, как прожектор, его не воодушевила. Наверное, слишком холодный она излучала свет. Прости, Лорочка, твой час придет, тебя полюбит другой.

Он стал вспоминать день и час, когда Ирина Ивановна стала для него тем, чем была теперь. Он хотел увидеть начало. Жизнь его текла ровно, очень ровно, и преодоление препятствий тоже не выделялось, оно было составной частью его бытия. Толчка, прозрения – ничего такого он не мог припомнить. Но ведь вчера еще он не любил, вчера еще ему просто приятно было смотреть на Ирину Ивановну, слушать ее голос, выполнять ее распоряжения. Сама же она глубоко не вторгалась в его внутренний мир. А теперь он любил, и разница между днем вчерашним и днем сегодняшним была разительная. Он увидел это, когда это чувство уже жило в нем и когда к тому, что пришло к нему, он не мог присовокупить, для характеристики, такое понятие, как большое или маленькое, сильное или слабое. И теперь весь мир состоял из одних ярких красок.

Это чувство поглотило его, растворяя в себе. И одно то, что оно, наконец, пришло, пока безответное, ото всех скрываемое, делало его счастливым. Как гулко бьется сердце! И хорошо! Надо страдать и выстрадать ее взаимность. Он вспомнил ее лицо, округлый маленький подбородок, удивительно не волевой и так неправильно ее характеризующий, вспомнил вздернутый носик, большие серые доверчивые глаза, говорящие правду и одну только правду, вспомнил ее улыбку и проникновенное тепло этой улыбки, – как оно возникало, он не умел объяснить, и то, что оно согревало и других, его даже радовало. Как она хороша, подумал он. Не писаная красавица, а хороша. Обыкновенная ведь девушка, а прошло четыре месяца, и нет на всей Земле человека обаятельнее ее. И так теперь будет и дальше, так теперь будет всегда. Его стала обгонять легковая машина, «Жигули» цвета морской волны. В машине был включен приемник, далекая женщина пела проникновенно и вкрадчиво: «На тебе сошелся клином белый свет!» Вот именно, сказал он себе, так оно и есть. И как славно знать, на ком именно сошелся белый свет! Как славно соглашаться с этим! Он прибавил скорости, чтобы песня эта его не обогнала и не погасла, не дослушанная до конца.

Справа, в городской застройке, проплыли три девятиэтажные башни Актепе. Кольцевая дорога разрезала какие-то холмы, капустные и помидорные поля, а справа все время нависал город. Под одной из этих бесчисленных крыш жила она, чем-то занималась, о чем-то думала. О чем? Я только бригадир, я рабочий, а она инженер, подумал он. Расстояние показалось ему большим. Он тоже может выучиться на инженера. Это трудно, но можно, да надо ли? Василий говорил с Прохоровым на эту тему, и прагматичный Геннадий Емельянович откровенно заявил, что это блажь, что Соколов, как бригадир, зарабатывает больше него, начальника участка. И ради чего тогда стараться-выкладываться? Значит, обществу хороший бригадир более нужен, чем средний инженер, а где гарантия, что из Соколова получится хороший инженер? Скорее всего, средний, а таких кругом

прод пруди. Да, но он бы тогда лучше разбирался в конструкциях, в производстве работ. На это есть нужные книги, сказал ему Прохоров. И Василий с ним согласился. А что скажет на это Ирина Ивановна? Ее мнение становилось для него все более ценным.

Она из другого мира, вдруг подумал он. Она росла не так, как он, ее не так воспитывали, и училась она не так, усидчивее и глубже, и знает много больше. Другой мир. Он вспомнил ее отца, он познакомился с ним в тот майский день, когда Иван Сергеевич прилетел из Москвы после встречи с однополчанами. Что в этом умном архитекторе из другого мира? И с каких пор интеллигенция стала другим миром? Не придумывай сложностей, сказал он себе. Преодолевай реальные сложности, их более чем достаточно. А что от другого мира в ее матери? Нежнейшее существо, приветлива, мила и еще бесконечно добра. И тем и сильна, на этом зиждется ее авторитет в доме! Что же в этих извечно привлекательных женских чертах из другого мира? Так он ответил на свой вопрос: Ирина Ивановна не могла быть из другого мира. Она из его мира, но из другой, не близкой к нему части.

Проплыли белокаменные корпуса вузгородка, потянулся жилой массив Каракамыш. Какой большой город. Полтора миллиона жителей, а скоро будет два. Чем больше город, тем круче дрожжи, на которых он замешан. Она и я, подумал он. Тут все было неизвестно. То, что в ее старании он мог отнести на свой счет, была, скорее всего, просто добросовестность, привитая в семье и школе. Но он с удовольствием погружался в неизвестность, она была, как теплое море. Не надо, чтобы к ней приходил Конкин, подумал он в следующую минуту. Непорядочно это с его стороны. Непорядочно до неприличия. Но если Олег Федорович под таким же впечатлением, как и он? Он вспомнил с глухой неприязнью, как Конкин взял Ирину Ивановну за руку на площадке на виду у всех. О чем они тогда говорили? Что было то неотложное, что начальник строительного управления спешил сообщить ей так доверительно? Он уже видел в Конкине соперника и готов был сказать: «А постой, уважаемый! А позволь, уважаемый! А подвинься-посторонись, дорогой, погаси свои не во всем благие намерения!» Конкин – понятно, а ей это зачем, подумал он в следующую минуту. Между нею и Олегом Федоровичем он видел пропасть. «Я уже подсказываю, я уже собственник, - увидел он. – Я думаю за нее, я нелеп! Так и до полного абсурда можно докатиться!»

Следующий живой массив назывался Юнусабад, и здесь автострада пересекала Чимкентское шоссе. Он свернул налево и вскоре остановился на одной из пустых аллей дендропарка. Здесь листья не выметали и не сжигали, и они хрустели под шинами мотоцикла и под ногами. Сухой, золотистый, мягкий ковер. Он представил себя и ее здесь, среди безмолвия деревьев, среди этой красоты, под шатром глубокого синего неба. Листья падали, кружась, вытворяя в воздухе сложные зигзаги; над аллеей смыкались желтые кроны, и ветер заставлял их медленно ронять листья. Что я о ней знаю, подумал он. И много, и очень мало. Только то, что она молодой инженер, и как работает, и что у нее симпатичные родители и ей с ними хорошо. Она может кого-нибудь любить, и тогда все пропало. Тогда ему надо будет зачеркнуть в себе это вдруг объявившее о себе чувство, отступить, ступешаться, замолчать. Пусть любит, подумал он, это ее право. Я тоже люблю, и есть ли у нее кто-нибудь или нет, время покажет. И время рассудит, время подскажет ей, кто из нас двоих лучше и достойнее.

Так он впервые сказал себе, что любит ее, Ирину Ивановну, своего строительного мастера, и это потрясло его, словно он сделал открытие. Это действительно было открытием. Любил ли он когда-нибудь прежде? Теперь он мог бы поклясться, что нет, хотя до армии у него были девушки, и не одни недотроги. И кое-кому из них он говорил, что любит. Но он говорил это под влиянием минуты, а потом не обнаруживал в себе того, о чем говорил. Позже он стал гораздо требовательнее к себе. Случайного, такого, что само идет в руки, ему не надо, случайное и любовь совсем не одно и то же. Случайное и любовь несовместимы. Это стало его правилом, и он ждал любви терпеливо и упорно, словно искал свою золотую жилу. И вот любовь пришла, и теперь он мечтал о взаимности. Листья падали, безмолвие большого парка не успокаивало. Она была далеко, она не знала, не догадывалась, и это могло продолжаться и завтра, и послезавтра, и сомнения не наслаивались одно на другое, а стлались, догоняя друг друга, как высокие волны. Но он был согласен.

Он завел двигатель. Мотоцикл был инородным телом на этой прекрасной аллее. А он сам? Ее бы сюда, вон под тот огромный клен с почти красной кроной. Теперь он сердился на себя – он ехал к ее дому. Мальчишка, отчитывал он себя, ты забываешься. Что она подумает, что подумает ее седовласый отец? Так он упрекал себя, но не менял решения. А мотоцикл проглатывал бетонные плиты дороги. С этой проворной лошадкой все было близко, и, отними у него мотоцикл, он бы почувствовал себя связанным по рукам и ногам. Еще шесть километров, и он пересек железную дорогу, идущую на Чирчик, и повернул направо. Вот и ее дом. Третье, четвертое и пятое окно первого этажа – это ее окна. И какое-то окно выходит во двор, но там он не появится, тамлюдно. Он проехал мимо и затормозил метрах в пятидесяти. Где ему встать, чтобы увидеть ее, если она выйдет из дома, но чтобы она не заметила его? Это условие он считал обязательным; смешно, если она увидит. Ему, все-таки, полных двадцать четыре, он не мальчик, и стыдно ему теряться и таиться на безлюдном задворке. Подростковые замашки!

Напишу письмо, подумал он. И это было глупо. Зачем писать, если они каждый день видятся на работе? Что это он о себе возомнил? Ее комната – третье окно. Кремовые занавеси, плотные и тяжелые. Дома ли она? Если она выйдет во двор и направится к маршрутному такси, он ее не увидит, двор отсюда не просматривался. Он

чувствовал себя в западне. Удивительно глупое положение. И за все эти муки он даже не услышит ее голоса. Даже не увидит ее. Он только знает, что она рядом, вот за этой бетонной стеной. За кремовой тяжело свисающей портьерой. Как бы сейчас смеялась над ним бригада! Да ребят расперло бы от доброго смеха. Бригадир, авторитет до неба, и мальчик мальчиком, если принять во внимание его нынешнее состояние. Откуда в нем столько робости?

«Ирка!» – сказал он вслух. Музыка, а не имя! Солнце светило прямо на него, его мотоцикл мешал на дороге машинам. А если он постучится? Дерзко, неумно. Простительно в его положении, но неумно. Тогда он приезжал по делу, по делу можно. Дело касалось многих, и ничто побочное не наслаивалось на него, а сейчас он один. «Выйди, Ира!» – попросил он. Она не услышала. Он отвел мотоцикл к обочине. Наклонился, потом присел на корточки, словно его машина нуждалась в ремонте. Теперь его не видно. Вздыхнул с облегчением. Сердце перестало частить.

«Я такой большой, а веду себя, как мальчик!» – с укоризной подумал он. Укоризна тотчас растаяла. Он должен зайти, сказал он себе, но не сдвинулся с места. Окно с кремовыми портьерами хранило молчание. Ее отца он бы сейчас узнал, а мать? Потом он расскажет Ире про это, пусть посмеется. Расскажет, если у нее никого нет. А если есть? Тогда он им не мешает, отойдет в сторону. Наступит на горло собственной песне и отойдет. «Какой я хороший, – подумал он, – я никого не собираюсь отваживать от нее. Куда мне ее пригласить?» На участке она будет одна, и он подойдет и пригласит ее куда-нибудь. Только не в театр, это так скучно. А если она любит театр? Что ж, он потерпит. Да и какая разница, куда они пойдут?

Чего добивается от нее Олег Федорович? Поговорить с ним? Высмеет, не его это дело. Что ж, если Ирину Ивановну любят другие, он должен стать лучше всех прочих, чтобы она предпочла его. Легче ли мне, подумал он, что я тут, возле ее дома? Легче не становилось. Постучаться же к ней сейчас он не мог.

«Мне не легче, а я тут, и делаю глупости, как шестнадцатилетний подросток», – сказал он себе. Он стал вспоминать все то, что она говорила. Все это было дело и о деле, она никогда не говорила о себе, не вспоминала, ее прошлое оставалось при ней, и ее мечты тоже. Всем этим она с ним не делилась. Он даже не знал, к чему она стремится, какой и кем видит себя в завтрашнем дне. Но о себе он мог сказать: он стремился к Ирине Ивановне. Любовь, вдруг открыл он, это когда всех женщин земли вдруг заслоняет собой одна женщина. Она заполняет тебя всего, и все, о чем ты думаешь и чего ты хочешь, – это она, кругом она, только она, одна она. Вот ведь что получается, когда любишь.

Он улыбнулся; ничего другого ему уже было не надо.

20

Сегодня, сейчас, решил Олег Федорович, и это придало ему смелости. Да, откладывать не имело смысла. Определенность, свобода, светлое будущее – так ему все рисовалось, а что, по сравнению с этим, всякие временные сложности и неудобства? Надежда Викторовна задерживалась, в последнее время они не баловали друг друга вниманием. Вошла дочка, рослая, большеглазая и худая. Внимательно на него посмотрела, бросила одно слово: «Неприятности?» Вопрос прозвучал с чисто женским участием, и он подумал: «Откуда это в них? Программа, гены? Почему они такие пронизательные?»

- Немного, бывает, – сказал он, и тревога сошла с ее лица.
- Папа, можно включить телевизор? Уроки я сделала.
- Включи, конечно.

После двухмесячного отдыха у бабушки Зоя повзрослела и переменялась. Стала больше помогать, иногда вызывалась что-нибудь приготовить. И Олегу Федоровичу это новое в дочери нравилось. А то ведь ни к чему из домашней работы не прилагивалась. Дочь включила телевизор, а он прошел в спальню, стал что-то читать. Не читалось. Он подумал, как отнесется к его поступку дочь, как поведет себя, поймет ли. Не поймет и будет права. Мать будет обиженной, оскорбленной стороной, и она останется с матерью, из упрямства и несогласия с ним. Почему – с матерью, спросил он себя, ведь его влияние на дочь сильнее? Потому что в ее возрасте очень велика потребность жить по справедливости. Значит, то, к чему он стремится, не справедливо? А это чьими глазами посмотреть на его поведение. Брак, переставший удовлетворять одного из супругов, ломается, разрыв – естественный выход из образовавшегося тупика. Но, в принципе, это осуждается. Развод – ломка болезненная, подумал он. Особенно для детей, которые остаются без одного из родителей. Как он начнет? «Надя, наша совместная жизнь перестала приносить нам радость, мы чужие, каждый живет самостоятельной, отдельной жизнью, и нам лучше расстаться?» Слова правильные, но какие-то нейтральные, без душевной боли. «Надя, я люблю другого человека!» Вот это и есть несправедливость по отношению к ней и к Зое. Ибо он, беря Надежду Викторовну в жены, брал на себя и обязательство сделать ее счастливой. Но ведь и она брала такое же обязательство, но почему-то не пожелала постоянно иметь его перед глазами.

Он увидел, что начать будет очень трудно. И тут пришла Надежда Викторовна.

- Зоя, зайчик мой, я сейчас съем слона, что у нас есть?

- Гречневая каша.
- С мясной подливкой?
- С маслом.
- Умница ты моя! Папа пообедал?
- Он ждет тебя.

Сейчас будет изображать образцовую матрону, подумал Олег Федорович. Где она моталась, что присмотрела? Дочь стала накрывать на стол. Звенели приборы, певица пела о любви. Все, что у него было до сих пор, теперь ему заменит Ира. И работа. Если Ира скажет «нет», останется одна работа. Он выдержит, он сильный. Он вышел к столу. Надежда Викторовна была в хорошем расположении духа. Ей все ясно, как же, подумал он. Ничто ее не гложет. Каша показалась ему пресной. Зоя нарезала сыра, колбасы, заварила чай.

- Моя хозяйюшка! – сказала ей мать. – Скоро весь дом на тебя ляжет!

Это были единственные сказанные за вечер слова. Телевизор прекрасно заменял им общение друг с другом. Олег Федорович представил за обеденным столом на месте Надежды Викторовны Ирину Ивановну. Прикрыл глаза рукой, словно спасался от наваждения.

- Папа, тебе нездоровится? – участливо спросила Зоя. Опять увидела! А Надежда Викторовна все еще не видела ничего.

- Мне хорошо, - сказал он.

Надя пока не проявляла интереса к его персоне. И он опять подумал о себе, как о вещи, которая гармонично (или не всегда гармонично) вписывается в квартирный интерьер. «Здесь я вещь и всегда буду вещью», - подумал он. Да, сегодня он все ей выложит.

Они стали ложиться после одиннадцати. Неловкость, он чувствовал, нарастала. Надежда Викторовна потушила свет.

- Мы недополучили много леса, и благодаря этому мне кое-что перепадет, - сказала она, делая упор на слове «кое-что». Она работала в большой снабженческой конторе.

- Надя! – начал он, прерывисто дыша. – Надя, пришло время нам расстаться. Мирно, по-доброму, без шума и битья посуды. Ты продолжай свою охоту за «кое-чем», а я уйду. Тихонько так уйду. Мне эти твои постоянные «кое-что» совершенно ни к чему.

Она села, как будто ее подбросило тугой пружиной. Ее глаза горели, ее начинала бить мелкая дрожь. Он взорвал бомбу.

- Дальше! – потребовала она. – Ну, убивай меня до конца!
- Все, что тебе нужно, ты узнала.
- Ты уйдешь, а как же я? Как же Зоя? Я создавала все это благополучие для тебя.
- Для себя. Мне оно всегда было в тягость, и ты прекрасно видела это.
- Для себя и для тебя. Скажи, что ты неумно пошутил. Как же так? Ни с того, ни с сего? К кому ты уходишь? Кто эта особа?

- Я просто ухожу. Ни к кому.

- Просто так, в белый свет, мужики от своих жен не уходят. Между прочим, в соседней комнате спит наш ребенок. Я его тебе не отдам.

- Знаю. Дочь отдаст мне суд

- Тихо - мирно, и суд? У тебя есть другая женщина? Скажи мне честно!

Он повторил, что у него никого нет, и напряжение достигло предела. Зачем он так сказал? Лучше бы по-честному, как есть. А как есть – это честно?

- Опомнись, Олежек! Зачем ты так меня бьешь? Я у тебя плохая, да? Ну, и хорошо, что у тебя никого нет, тогда все проще. Ты устал. Отдохни, успокойся, и все будет, как надо. Съезди куда-нибудь, мир посмотри, проветришь. Угомонись, одумайся!

- Надя, это очень серьезно.

- Развода я не дам. – Она чуть-чуть не сорвалась на крик, не стала дерзить и плакать. Интуиция подсказывала ей линию поведения, которая понижала температуру, гасила пламя.

- Это твое дело. Я просто уйду.

Он лежал, она сидела и думала. Белый силуэт, белое лицо, черные, блестящие провалы глаз, черные волосы. Когда-то он страстно любил эту женщину. Теперь же был спокоен, холоден, отчужден. Кажется, ее бил мелкий озноб. «Ты меня на руках носил!» – вдруг вспомнила она.

- Носил, но ты давно уже намеренно отравляешь мне жизнь.

- Чем, интересно?

- Равнодушием. Приобретательством. Долгами. Нелюбовью, одним словом.

- Долг ты выплатишь завтра же. Считай, что его у тебя уже нет. К обеду я привезу тебе деньги прямо в контору. Сколько, девятьсот? Видишь, я помню.

- Надеешься вывернуться?

- Надеюсь, потому что меня зовут Надеждой. Я хочу заклеить эту трещину, пока она не разверзлась в пропасть. И я ее заклею!

- Я ухожу и начну все сначала.

- Не лги мне. Сначала – почему, во имя чего? А мы? О нас ты подумал? Ты нам нужен.

«Круг замкнулся, - сказал он себе. – Это она уже говорила. Почему я ее не ненавижу?» – спросил он себя. Тогда все было бы много проще, тогда бы он поднялся и ушел и не стал бы брать даже второй рубашки, даже носового платка. Чего он ждал? Разрешения? Резолюции на заявлениях?

- Обними меня! – вдруг попросила она. Он не пошевелился. Она всхлипнула. Он не пожалел ее. И, главное, он ее не пожалел. Все рушилось. Она заплакала громче, ей было очень жалко себя. Это становилось невыносимо. С женскими слезами он не умел бороться.

- Ты не создашь равноценной семьи! – говорила Надежда Викторовна сквозь слезы. – Все сначала – это обман, этим увлекают студенток! Тебе будет плохо без нас. Тебя будет мучить совесть. Да не лежи ты, как бревно! Скажи что-нибудь!

Он молчал. Наяву все это куда тяжелее, чем рисуешь себе издали, видел он, а дальше будет еще тяжелее. И все это не переложить на чужие плечи. Прав ли он? Он любит, но почему должны страдать близкие ему люди? Слезам Надежды Викторовны, казалось, не будет конца. Какое мучительное объяснение! Всего этого – дома, семьи, Зои, - у него завтра не будет. А что, что будет? Может быть, ничего. «Моя решимость не поколеблена», - подумал он, а вслух сказал: «Перестань! К этому мы шли давно, и теперь это случилось. Все правильно. Ты будешь жить со своими любимыми вещами, они все отойдут тебе. Мне ничего этого не надо. Я оставлю тебе и квартиру, и барахло, без которого ты не можешь».

- Ты нам нужен, понимаешь? Ты! Ты все еще хочешь уйти?

- Да. Конечно!

Она не уловила в его голосе прежней твердости. Только усталость, только желание, чтобы она замолчала. Ей стало немного легче. Это блажь, это пройдет, и она излечит его от этого, если станет внимательной и нежной и заполнит своими заботами образовавшуюся пустоту. Лишь бы за всем этим не стояла другая женщина. От таких жен, как она, легко и просто не уходят. Она, конечно, дура, что выжала из него столько соков. Не сориентировалась во-время! Не надо пробуждать вулкан, всегда дремлющий в мужчине. Она знала, что во имя сохранения семьи пожертвует всем тем, ради чего бегала, суежилась, придумывала хитрые комбинации. И это придавало ей силы и уверенность.

21

Сентябрь тоже был ударным, и Соколов, а вместе с ним и Ирина Ивановна прибавили к выигранной неделе еще два дня. Им удавалось сжимать и напряженный график, и они радовались дерзкой силе правильно поставленного труда. И вдруг восхождение кончилось, как по команде сверху. Это случилось в первых числах октября. Поток трайлеров и панелевозов странно иссяк, и так же неожиданно опустели траншеи, где субподрядчики монтировали водопроводные и канализационные сети. Примчался Олег Федорович, очень озабоченный, и сообщил: «Я был прав, все летит к чертовой бабушке (более крепкого выражения он поостерегся), конструкции забирает Алмалык – будем стоять, будем смотреть в потолок, будем куковать». Подробности он знал смутно. Grimаса страдания легла на его лицо. Она красноречиво говорила о том, что подробности самые безрадостные. Разумеется, бригада сразу не встала. Был запас, созданный главным образом стараниями прозорливого Иноятова, достаточный для двухнедельной работы. Но прекращение поставок грозило затянуться на гораздо больший срок. Ирина Ивановна забегала, засуетилась. «Пошла искать правду по кабинетам! – сказал про нее Прохоров. – Откуда красавице знать, что в высоких кабинетах никакой правды давно не осталось?» Он попытался просветить ее насчет бесплодности ее усилий, – она не просвещалась. Она отказывалась понимать, почему конструкции, необходимые ее строительной площадке, оказались нужнее в другом месте, почему этого нельзя было предусмотреть заранее и почему теперь, в срочном порядке и волевым путем, необходимо менять сложившиеся производственные связи.

«Медь и цинк важнее каких-то жалких жалюзи, цветные металлы сейчас очень вздорожали, на мировом рынке за килограмм меди дают больше двух долларов, а вчера давали полтора, - терпеливо втолковывали ей. – Жалюзи подождут, ничего страшного! Народ жил без них и еще поживет – и ни одним словом не попрекнет нас, что мы не преподнесли ему какие-то жалюзи на блюдечке с голубой каемочкой». – Самым страшным и неприемлемым ей казалось то, что для всех других, кроме нее, происшедшее было в порядке вещей. Другие свыклись, значат, примирились, значит, не добиваются торжества порядка в строительном деле, и не в строительном тоже. Она знала твердо: нельзя обескровливать стройку в самый разгар работ, это обернется убытками и апатией работников. Но и убытки никого не смущали. Они были и будут, государство от них не разорится, их влияние на зарплату весьма проблематично, чего же переживать? Апатия работников вообще никем не бралась во внимание, ведь рублем она не исчислялась.

Пеночкина встретила и с Иноятовым. Управляющий трестом только развел руками. Ему было неловко, его не часто заставляли таким беспомощным. Заверил: первые же плиты перекрытия и фермы, что выделяют его тресту, он направит Соколову, но до нового года и, возможно, до марта не ожидается ничего. Алмалыкский горно-металлургический комбинат, входящий в десятку крупнейших в мире, наращивает мощности, сейчас туда направлены крупные средства, так распорядилась Москва. Скорее всего, большая часть управления Конкина тоже будет привлечена к работам в Алмалыке, но бригаду Соколова не тронут. Это было единственное реальное обещание. Она познакомила Соколова с результатами хождений по инстанциям, точнее, с их полной безрезультатностью. Он смотрел на нее как-то странно, смущался, голоса не повышал, чего-то явно недоговаривал, и она решила: не верит! Это ее взволновало, это было несправедливо, и она сказала с досадой: «Справьтесь сами, у вас мотоцикл!» Он кивнул, словно ему предстояло продублировать все ее хождения, и быстро сказал: «Нет-нет! Мы попали в ситуацию. Прохоров мне образно все разъяснил. Образность была сильной стороной его краткой, но пламенной речи. Я вам не могу воспроизвести все его образные громкие слова!»

В середине октября запасы были выработаны, и началась вынужденная полоса маневров. Монтажники тоже переключились на кладку фундаментов. Но и этот вид работ предстояло завершить к концу ноября. Оставались обратная засыпка, бетонные полы и кирпичные перегородки. Эти работы не лимитировались наличием материалов, но на темпах их ведения сказались нехватка транспортных средств. Трестовские самосвалы тоже понадобились Алмалыку.

Отчаявшись, Ирина Ивановна поехала на комбинат строительных материалов и конструкций. Может быть, надеялась она, директор изыщет какие-нибудь резервы, ведь он человек и по-человечески поймет ее. Все вышло не так. Ее собеседником в директорском кресле оказался человек уставший и больной, не проявивший к очередной просительнице никакого внимания. У него горел план, и план был пределом его желаний. Он разъяснил ей это, как мог, и все время, пока он говорил, она читала в его тусклых глазах: «Скорее бы ты ушла». Тут она и осознала бессцельность своих дальнейших хождений. Сама общая обстановка была против нее, и она поняла это. Поняла, что хождения и просьбы – жалкий примитив, она всего лишь строительный мастер, и раз самому управляющему трестом не дано изменить ситуацию, не дано этого и ей. Ее приход везде вызывал безмерное удивление, и только. Она увидела перед собой стену и угомонилась. Что она при этом чувствовала, никого не касалось.

Она переключилась на другое: чем занять людей Соколова до нового года. Бетонные полы и кирпичные перегородки, как она ни кроила, не могли дать того, что давал монтаж. Выработка в рублях должна была в ноябре снизиться более чем в полтора раза, а в декабре – вдвое. Подряд срывался, бесхозность торжествовала – в который уже раз. Никакого опережения графика к ноябрю уже не было. И стало накапливаться отставание, которое простым напряжением сил было не наверстать.

В довершение всего, когда спад обозначился самым явным образом, приехали итальянцы, семеро черноволосых загорелых экспансивных специалистов. По условиям контракта они должны были участвовать в монтаже и наладке оборудования. Их никто не звал, но подошел срок, указанный в контракте, и они приехали. Чья-то нерасторопность привела к тому, что об этом пункте контракта забыли начисто. Даже у Конкина не было экземпляра контракта. Ведь можно было предупредить итальянцев, попросить их повременить. Они свалились на голову, и никто не знал, что с ними делать. Оборудование даже не распаковывали. Теперь, однако, Ирина Ивановна поняла, что трест упустил сроки, и разворачиваться надо было не летом, а в начале года. Представителям заграничной фирмы вежливо разъяснили, что спешить им было ни к чему, что их известят, когда возникнет надобность в их услугах, и предложили осмотреть достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы. Итальянские инженеры охотно превратились в туристов, а затем отбыли восвояси. Их никчемный приезд, естественно, оплатила наша страна. «Какой конфуз!» – переживала Ирина Ивановна. И опять она, как ей казалось, переживала одна. Правда, в министерстве вскоре нашли человека, проспавшего приезд итальянцев, и нашли второго такого человека у представителя заказчика, в дирекции строящегося предприятия. Обоих с работы не попросили, только понизили в должности. Ощущение конфуза, однако, осталось и после этого.

С тоской бродила она по опустевшей площадке. Все было разрыто и вздыблено, сам черт мог сломать ногу. Но прилив сменился отливом. И это походило на бегство. Сантехники бросили на бровке траншеи черные чугунные канализационные трубы и более тонкие стальные, для теплотрассы. Изолировщики, делавшие кровлю на битумной основе, оставили на земляном холмике прокопченный железный сосуд с трубой, в котором плавил битум. Дорожники заасфальтировали половину подъездной дороги и бросили грейдер и два катка. Бригада Соколова, сев на голодный паек, тоже сдала позиции, и это было горше всего. Она, инженер, не могла поправить дела. Прежде она уставала и была счастлива. Сейчас вынужденное безделье изматывало сильнее. И, усугубляя ее горечь, за ней уже не шелестело по пятам: «Наяда!» Она уже не была Наядой, уже не очаровывала людей, которых лишили главного – возможности работать в полную силу и хорошо зарабатывать.

Переживая, она старалась реже бывать на людях. Поднималась по шаткой железной стремянке на крышу, на двенадцатиметровую высоту. Картина застоя доводила ее до слез, и, оставаясь одна, она не стеснялась слез. Потом брала себя в руки. Она еще докажет. Она и Соколов еще докажут! «Фантазер ваш Соколов!» – слышала

она давний насмешливый голос Олега Федоровича. Пусть! Пусть и она фантазерка. Но ведь можно, можно сделать так, чтобы строительная площадка не отличалась от заводского конвейера. В институте ее учили именно такой организации труда. И если не на этой, так на второй, на третьей площадке она создаст настоящий, ритмичный конвейер (бригадный подряд – хороший для этого фундамент), и ее рабочие будут гордиться ею. Возможно, потом ее имя вместе с другими именами вырежут на мраморной доске под словами: «Этот корпус построили...» А вокруг простирались поля, зеленела люцерна, дальше слева вставал двухэтажный город-спутник Сергили, компактный, аккуратный, вклад военных строителей в восстановление Ташкента после разрушительного землетрясения в апреле 1966 года, а справа начинались многоэтажные кварталы самого Ташкента, и терялись в сиреновой дымке. Налетал ветер, она наклонялась вперед, но вниз не спускалась. Пусть сейчас ей тяжело, но духом она не пала. Нет, ни в коем случае. И своего она добьется. И... Этих «и» было много, каждое предваряло проблему. Первая же трудность, однако, поставила ее в тупик. Она не могла преодолеть застоя на ее собственной, безумно дорогой ей строительной площадке.

22

На объекте ждали Иноятова. Ноябрь радовал погожей погодой. Безоблачное небо освободилось от летней белесости и было синее-синее. Хорошо все было в природе, спокойно и чисто. Далекие горы, которые скрывал летний дрожащий воздух, теперь поднимались на северо-востоке отчетливой серой зубчатой стеной. Иноятова ждали уже в новом качестве: перед октябрьскими праздниками его назначили на должность заместителя министра строительства, и он передал трест своему главному инженеру. Последовавшие затем перемещения внутри треста не коснулись Конкина. Олег Федорович не подал виду, что задет, хотя был несколько расстроен. Неустроенность личной жизни помешала ему быть задетым по-настоящему. Но ту ступеньку, которую он теперь занимал в трестовской иерархии, он не считал для себя последней.

Юсупа Халиловича интересовал бригадный подряд, перспективы его внедрения. Он хотел получить информацию из первых рук и подкрепить ее личным впечатлением, минуя фильтры промежуточных инстанций. Подряд нес с собой много нового в организации труда бригады, строительного участка. Менялось даже оформление документации на заработную плату. Если не вникнуть во все это вначале, потом уже не вникнешь, не выкроишь времени. Это он знал по собственному опыту.

Олег же Федорович, ожидая приезда Иноятова, влияние которого теперь усиливалось, надеялся с его помощью поправить дело. Если кто-нибудь в министерстве мог достать для Соколова железобетонные конструкции, этим человеком, безусловно, был Иноятов. Еще он хотел просто задеть Иноятова за живое очевидным провалом первого подряда, как бы в отместку за невнимание к себе. Разговор, как представлял себе это Олег Федорович, должен был принять направление нелицеприятное, возможны были резкости, упреки, повышенные тона. Пусть будут резкости и обвинения, считал Конкин (более того, он даже предвкушал их), но пусть они исходят не от него, не от Прохорова и не от молодой еще и горячей Ирины Ивановны. Пусть роль бомбардира возьмет на себя Соколов. Какие взятки с рабочего, с лица заинтересованного? С рабочего взятки гладки. Обдумав ходы этого небольшого штурма, очень похожего на мышиную возню местного масштаба, Конкин под благовидным предлогом усладил Пеночкину в контору управления до конца рабочего дня - женщине лучше обходить стороной мужские драчки, и подробно проинструктировал Соколова. Хитрить с Василием Павловичем было ни к чему, и Конкин посвятил его в смысл маневра. Быстрого результата, сразу предупредил он, ждать не следует, и может вообще не быть результата, но краску стыда на благодушном лице Иноятова вызвать, конечно, надо. Чтобы подольше помнил про лужу, в которую посадил себя сам. В будущем это поможет. Как только конъюнктура изменится, внимание Иноятова будет весьма кстати.

- Выходит, все затевается протекции ради? – пробасил Соколов. – Олег Федорович, на что вы меня толкаете? Не ожидал!

- Больно ты щепетилен. А то над тобой не было протекции, когда к тебе материалы шли без сучка и задоринки. Ты насыдь на него. Да поаккуратней. Да потверже. Я буду останавливать тебя, увещевать, руку отводить, а ты не останавливайся, игнорируй меня. Накипело, мол, не могу терпеть! Не затыкайте мне рта! Про права человека вспомни. Нет, этого лучше не надо, еще в диссиденты попадешь, коситься станут, – хуже этого нет. Вообще, невеликую хитрость мы затеваем. Хитрость без тонкостей. А, смотришь, и появится зацепочка, что-нибудь да выгорит.

Так наставлял он своего бригадира, а на душе его было сумрачно. Его Надежда Викторовна была против развода и вдруг стала покладистая, как никогда. Кроткая овечка с преданными глазами была теперь его Надежда Викторовна. Уплатила все его долги (из какой, интересно, заначки?), вьюном вьется, все: «Олежек, Олежек!» Да: «Как ты считаешь, что скажешь?» Теперь он был во власти глухого смятения. Уйти? Остаться? Ирине Ивановне он пообещал, что разведется, а она сказала, что ей этого не надо. Не поспешил ли он? Он и стыдился, и нервничал, но притяжение, исходившее от Ирины Ивановны, не ослабевало. Чем труднее был путь к ней, тем желанней она казалась. Эх, Ирина Ивановна, Ирина Ивановна!

Инояттов приехал, поздоровался с инженерами за руку, и Конкин и Прохоров сразу поздравили его с повышением по службе и пожелали следующего успеха, - они не сказали, какого, но это было понятно, и пожелали не забывать их строительное управление.

- Я и сейчас на вас надеюсь – сказал на это Инояттов, щедро улыбаясь. – Что ж, посмотрим, как вы тут копаете. Ведите, показывайте!

Вызвали Соколова, и Юсуп Халилович поздоровался с ним за руку и остался доволен крепостью рукопожатия, заставившего его слегка поморщиться. «Наслышан, - сказал он, - рад познакомиться». Пошли под своды строящегося корпуса. Конкин давал пояснения сначала единолично, потом, следуя разработанному сценарию, стал подключать Соколова, постепенно передавая инициативу в его руки. Соколов в ситуации прекрасно разобрался. Похвалил своих людей. Здесь он не пожалел теплых слов и даже остановился на воспитательной роли подряда, развивающего у рабочего качества хозяина. Похвалил инженеров управления и особенно Ирину Ивановну Пеночкину за грамотную постановку дела. Инояттов тут же справился, где Пеночкина, и выразил сожаление, что не увидит ее сегодня. «С тебя хватит и нас!» – подумал Конкин и медленным наклоном головы разрешил Соколову отпустить поводыря.

- В октябре все пошло прахом, - сказал Василий Павлович без видимого перехода. – Как будто нам поставили ножку. Бригада с разбега плюхнулась носом в пыль. Подряд накрылся женским половым органом. Что прикажете делать?

- Образно! – сказал Инояттов. – Продолжай, дорогой.

- А чего продолжать? Мы лишены возможности продолжать. Работа вполсилы нам в тягость.

- На площадке должны быть условия для маневра. Бетонные полы, перегородки.

- Этот маневр – мы вынуждены были пойти на него, – разрушает поток. Каркас, здание – вот что главное. Полы и перегородки нас не задержат.

- Я старался, чтобы у тебя был запас деталей, но удалось создать только двухнедельный. Он съеден. Что дальше? Ну, назову я вам облеченных властью людей, по чьей команде силы и средства брошены в Алмалык, - вам легче станет? Медь и цинк сейчас действительно важнее наших жалюзи.

- Разве это правомочно? На что тогда нам все эти наши госпланы? Командуй сверху, как твоей душе угодно, и все дела. Если бы вы протестовали, к вашему голосу прислушались бы.

- Наивность юности! Не вижу, почему такая концентрация сил на важнейшем участке экономики не правомочна. Она очень даже правомочна.

- Ее следовало предусмотреть заранее. Теперь она дезорганизует другие стройки. Маневр резервами другое дело. Почему ваши планы не предусматривают резервов? Почему наш объект по выпуску товаров народного потребления вдруг объявлен второстепенным?

- Наши планы, - поправил Инояттов. – Теперь понимаю, что подряд ты взял не случайно. Привык думать, взвешивать – это хорошо. Если бы все умели трезво взвешивать обстоятельства и предвидеть завтрашние нужды, ты бы сейчас не страдал от небольшого, в масштабах республики, перегиба.

Соколов нахохлился. Он не желал, чтобы его благодарили за его же правоту. Увещевали, как мальчика. И не хотел, чтобы вместо действительной помощи ему была прочитана очередная лекция о великой жизненной силе демократического централизма. Ему нужно было столкновение. Ощущение того, что курок взведен, придало ему уверенности. И он пошел вперед напролом, помня о том, что перед ним дяденька не робкого десятка, который обиду запомнит и возвратит потом должок в удесятенном размере.

- В перегибах не участвовал, это не по моей части. По моей части работа согласно принятым на себя обязательствам. А происходящее я понимаю так: вы сорвали мне подряд. Вы персонально! Ни начальник участка Прохоров, ни начальник управления Конкин не гарантировали мне выполнения условий, при которых возможен подряд. А вы дали добро, зажгли зеленый свет. Значит, вы взяли на себя и ответственность. Час пробил. Отвечайте, пожалуйста!

Инояттов побагровел и стал ниже ростом. «Что это такое? – спросил он Конкина, зло на него надвигаясь. - Почему я должен выслушивать это?»

- Извините, Юсуп Халилович! – сразу сказал Олег Федорович, переходя на скороговорку. Скороговорка позволяла ему не смотреть в глаза собеседнику. – Парню досадно, он погорячился. Мы это поправим сегодня же!

- Это как так – извините? – повысил голос Василий Павлович. – Не извиняю и не могу извинить, нет у меня полномочий извинять вашу бесхозяйственность. Спросить же с вас я просто обязан. Мои люди, которые стоят сейчас без дела, наказали мне строго спросить с вас. Вы думали: обойдется. Не обошлось. Объясните, почему мне не поставляют конструкции, как это предусмотрено подрядом?

Инояттов побагровел еще больше. Широкое, мясистое лицо Соколова тоже стало красным. Рассчитывая на эффект, он обошел вокруг Инояттова и встал с той стороны, с какой лицо его рассекал глубокий лиловый шрам. И Инояттов увидел, какое у него зловещее лицо.

- Можете багроветь сколько угодно! – грубо бросил Соколов. – Тут не институт благородных девиц. А я не начальник управления, чтобы петь вам славу в связи с вашим повышением в должности. Моя бригада многое потеряла, и не по нашей вине. А по чьей? По вашей вине, Юсуп Халилович. И по вине тех, кто вами руководит. Почему нами так руководят, что рушится всякий порядок, а беспорядок торжествует?

Стало тихо; дерзость была произнесена неслыханная.

- Твердая у тебя рука, - вдруг сказал Иноятов, осаживая себя и давая себе слово подкрутить гайки Конкину, нет, вытереть об него ноги, чтобы никогда не забывал, кто есть кто на этом свете. – Умеешь плыть и против течения. Что ж, ты правильно видишь расстановку сил. Объем моей административной власти тебе известен. За дерзость наказывать не имею права.

- Это не дерзость, это разбор практики, - тоном ниже сказал Василий. – Нам бы дело поправить, ради этого и дерзаем.

- Не я санкционировал это перераспределение сил в пользу Алмалыка, - защищался Иноятов. – Решение принято на самом высоком уровне, и в данной ситуации я такой же исполнитель, как и другие администраторы моего ранга. Нужды твои вижу, мне они близки, и твоя неудача – это моя неудача.

- Это наша общая неудача, - мягко возник Конкин.

- Так мы придем к тому, с чего начали разговор, круг замкнется, - не согласился Соколов. – Крайнего не будет. Крайним останусь я. А мне это надо?

- К сожалению, ничем помочь сейчас не могу. – Иноятов совсем перестал горячиться. – Что же касается признания или отрицания вины и ответственности, в этом ли суть?

- И в этом тоже! – не уступал бригадир.

- Тогда я все признаю и беру на себя. – Иноятов замолчал, давая понять, что разговор завершен. Этого Соколов не ожидал. Какое-то время они шли молча, Иноятов и свита, и Василий Павлович, возле которого стала образовываться пустота. Не чувствуя удовлетворения, он решился еще на одну атаку.

- Извините, начальник, - вдруг сказал он, - но мне многое не ясно. Я хочу, чтобы вы растолковали мне, со своих позиций лица ответственного и полномочного, как мы очутились в такой глубокой яме. Если здесь эта откровенность неуместна или вы сейчас не готовы, назначьте время, примите меня и все объясните. Для меня это очень важно. Я хочу точно знать, обо что так больно споткнулся. Я хочу знать, стараться ли мне дальше или просто плыть по течению и ни о чем больше не беспокоиться.

- Я разыщу тебя сам. Обещаю.

23

Вскоре Иноятов сдержал свое слово. Прислал за Соколовым машину. Потребовал к себе. Попросил робкую секретаршу никого к себе не впускать и заварить чаю. Подождал, пока чай настоится, и налил в пиалы – не более трети. Серый костюм австралийской шерсти сидел на нем безукоризненно. Сорочку иноземного шитья, наверное, он менял дважды на день. Гордо посаженная голова, осанка, достоинство. Внешность Иноятова вполне соответствовала его высокому посту.

- Я точно так же завариваю чай, - сказал Василий Павлович. – И пью только из пиалы.

- Наши обычаи становятся вашими обычаями, - сказал на это Иноятов. – Правда, Киплинг говорил, что Запад и Восток различны настолько, что никогда не сойдутся. Я это к тому, что нельзя пророчить на века вперед. А, может быть, и прав он, этот хитроумный любознательный англичанин, очень полюбивший Индию. Уважение и взаимное влияние еще не подразумевают слияния.

Василий настороженно посмотрел на Иноятова и счел за лучшее высказывание Киплинга обойти молчанием. Надо будет спросить у Ирины Ивановны про Киплинга, кто он и за что чтят. Мозгокрут, наверное. «Однако ж, быстро вы меня разыскали, Юсуп Халилович!» – Соколов вспомнил имя и отчество Иноятова и теперь с удовольствием называл заместителя министра по имени и отчеству.

- А вас зовут Василием? – спросил Иноятов.

- На площадке вы говорили мне «ты».

- Я не умышленно. Узбекское «вы» во многом равноценно русскому «ты». И мне удобнее говорить тебе «ты». Но только не пойми меня так, что этим я подчеркиваю разницу в нашем служебном положении. Этим я хочу лишь сказать, что ты еще молод. «Багровейте, сколько вам угодно, но за провал ответьте!» Недурно сформулировано. И насчет того, что нами плохо управляют, тоже недурно сказано. Ответственно сказано. Представляю, как потом ваши смаковали каждый твой выпад. Я не в обиде, да и не в эмоциях дело, хотя без эмоций мы мертвы, мертвы. Не укажи ты так грубо на мою вину, не пригласил бы тебя для этого разговора. Ты прешь вперед, как танк. Скажи, кто тебя так разрисовал?

- Я всегда уважал порядок, за что и пострадал однажды вечером, - сказал Василий, опуская подробности. Они давно уже не имели значения. – А с вами я вел себя несдержанно. Прошу простить меня.

- Ну, все мы горячимся, когда припекает. Уж Конкин потом извинялся-извинялся! Юлой вертелся, лебезил. Но я его, лису, раскусил. Вы с ним не репетировали? – вдруг спросил Иноятов.

- Он упросил меня постоять под огнем, - чистосердечно сказал Соколов. – Но это и правильно. Моя шкура тверже, а Конкину отвечать вместе с вами. Вы вот что мне теперь растолкуйте. Почему у нас начатых объектов намного больше, чем сил? Почему не идет подряд? Я уже второй год бригадир, но только на этом объекте знал наперед, что мне делать через месяц, через три.

- Для этого и вызвал. Для честного, но спокойного разговора. Люди твои мне понравились. Делаю обход, а никто головы не повернет, работают. Увидели, конечно, кивнули в ответ на приветствие, и все. Еще вот что мне у тебя понравилось: не валяются у тебя материалы, в пыль не втаптываются, не губятся. И я подумал: раз ты так воспитал своих людей, значит, и с меня спросить имеешь право. На площадке я был зол на тебя, уж очень грозно ты напирал. Потом успокоился, и многое, по зрелому размышлению, открылось мне. Сейчас я хочу расширить твоё представление о той части строительного дела, которая пока тебе не видна. Почти все наши, то есть нашей отрасли, беды от распыления сил.

Возьмем, чтобы привязаться к пятилетке, двадцать пять равнозначных объектов. Так удобнее считать. Можно ежегодно начинать пять объектов и сдавать пять пусковых, а пять иметь в заделе. Случай, признаюсь, идеальный. Так у нас не получается. А получается вот как. Раз у нас в пятилетнем плане эти двадцать пять объектов, мы большинство начинаем в первый год и вводим в последний, и что-то начинаем сверх того, что есть в пятилетнем плане, а что-то не кончаем. Значит, это переходит на пятилетку следующую. Половину строек, не меньше, мы начинаем раньше времени. И строим в два раза дольше, чем надо. Это не наша, строителей, самодеятельность, это идет официально, через государственный заказ. Министерства-заказчики всеми силами пытаются включить в план то, что может еще подождать. Отсюда такое обилие незавершенного строительства. Вот, например, двадцатипятиэтажное здание в центре Ташкента. Всем оно хорошо, да строили его целых одиннадцать лет. Посчитай теперь: если бы это здание стали возводить не одиннадцать лет назад, а три года, и ввели бы теперь, восемь лет еще люди бы жили в квартирах, которые пошли под снос. А башенные краны, там задействованные, восемь лет пахали бы на других объектах. Знаешь ли ты, сколько строился стодвухэтажный небоскреб в Нью-Йорке? Эту гордость Америки и самое высокое здание в мире строили ровно год, вместе с отделкой. Когда я узнал об этом факте, я чуть со стула не упал. Так это меня поразило. Они хозяева, у них целеустремленность и порядок. А мы? Мы еще на своих стройках не хозяева.

«Я поднимаюсь на сто второй этаж! Там «Буги-вуги» лобает джаз!» - пропел, шепелявя, Соколов, и сам себе выбил такт ладонями. – За год объект отгрохали, говорите? За три дня этаж? Удивительно! Это сколько же народа там было задействовано?

- Три тысячи человек. Тридцатые годы, кризис и все такое. - Иноятов улыбнулся и продолжил: - Теперь вторая сторона дела. В деньгах мы обыкновенно нужды не испытываем, получаем по потребности. И выходит, что нам, строителям, лишние площадки не так уж в тягость, рубль нас за них не бьет. Более того, они облегчают нам маневр, легко жить позволяют. Начать новый объект куда легче, чем сдать пусковой. Недаром после завершения объекта первое побуждение прораба – уйти в отпуск, отдышаться. И вот, когда нам дают новые объекты, мы молчим и приступаем. Знаем, что это плохо, но в колокола не бьем. Мебельный комбинат, что по соседству с твоим объектом, мы должны были пустить три года назад. Когда пустим, он уже не будет отвечать последнему слову техники.

- Не хозяйский это подход, ваша правда, - решительно заявил Василий.

- О том и говорю! Не хозяева мы, а наемные работники. Только. Не возьму в толк: или не дано нам быть хозяевами, ведь прежних хозяев мы сами убрали, или партийные органы не дают нам быть хозяевами. Ведь хозяином не покомандуешь. Ты два месяца побыл в шкуре хозяина. И я уже над тобой не власть! Я так полагаю, что нам надо за ввод отчитываться, и только. Теперь свяжем все это с Алмалыком. Почему аврал, почему ажиотаж? Потому что опять изъян в планировании. В принципе, маневр силами в порядке вещей, всегда может появиться что-то срочное и неотложное. Но маневрировать следует резервами, а не оголять позиции там, где работы в самом разгаре.

- И как у нас с резервами?

- А никак. Нет их, и давно уже нет. Давно уже все задействовано. Резерв вижу в другом, в наведении порядка.

- Давайте вернемся к Алмалыку, к меди и цинку, которых нам надо больше. Я навел справки, как и что (это сделала Ирина Ивановна, но Соколов на нее не сослался), и мне сказали, что рубль, вложенный в завод «Жалюзи», даст в четыре раза больше отдачи, чем рубль, вложенный в Алмалык – даже при нынешних высоких ценах на цветные металлы. А мы тормозим прибыльное дело и отдаем средства гораздо менее прибыльному. Вынужден с вами согласиться: мы не хозяева, хозяева так не поступают. А как власти на это смотрят?

- Власти сами создали эту ситуацию. Теперь думают. Думать, полагаю, будут долго. Быстрых сдвигов к лучшему не предвижу.

- То есть, неудача, которая меня постигла, была предрешена?

- На три четверти. Но у тебя за плечами три месяца успеха, когда твои ребята летели вперед как на крыльях и были недосыгаемы. За эти три месяца ты доказал полную жизненность подряда. Так что не усматривай в случившемся одну неудачу. Ты сам до конца не осознаешь, какое доброе дело начал. И ты его продолжишь. Всего ты уже не наверстаешь, перенапряжения нам не надо, проку от него мало. Мы добавим тебе людей.

- Утешаете. А где же ваша ответственность?

- Она выше. Ее переложил на свои плечи тот, кто дал команду свистать всех в Алмалык. Ибо, повторяю, по большому счету медь и цинк, сырье стратегическое, важнее, чем какие-то там жалюзи. Тебя поддерживал, пока обстановка не изменилась в корне. И снова поддержку, не сомневайся. Твое «багровейте, сколько угодно» давно проглотил, но крепко запомнил. Я виноват только в том, что не был с тобой достаточно откровенен. Не сказал тебе о большой вероятности срыва именно по той причине, по какой он и произошел. Не принял в расчет твоей горячей молодости и безоговорочной веры в успех.

- Потом другое помешать может.

- А ты будь наготове, ты солдат. Не паникуй, а думай, как в новых обстоятельствах оказаться на высоте. Учись маневрировать!

- Вместе с вами – пожалуйста! А порознь будем учиться – какая же польза от такой учебы? Но вас понял. Я еще буду строить подрядным способом.

- В тебе и в твоих людях не сомневаюсь.

Василий Павлович подумал, как было бы замечательно, если бы это же он мог сказать об Иноятове и о людях, которые стоят еще выше. Но эту свою мысль оставил при себе.

24

В детстве Олег Федорович любил купаться в Саларе. К любимому тенистому их месту, где вода текла плавно и был песчаный берег с глиняным трамплином, сложенным их руками, тропа вела через свалку, и несколько метров надо было пройти по битому стеклу, очень тонкому, от электрических лампочек. А ходили они летом босиком и в трусах. Олег Федорович помнил, как он шел по этому стеклу – осторожно-осторожно, балансируя руками и затаив дыхание. Он не порезался ни разу, и никто не порезался из его друзей. Но ощущение, которое он испытал тогда, запомнилось прочно. Ощущение опасности, страх перед болью, которая вот-вот пронзит тело. Так было и сейчас, через четверть века. Ощущение вернулось, он словно снова балансировал на битом стекле, и равновесие, которого он достигал с огромным трудом, было шатким, временным, сиюминутным. Он чувствовал, что долго так продолжаться не может, он не выдержит, напряжение слишком велико.

Это было необычное состояние, едва ли он переживал прежде что-либо подобное. Надо было на что-то решиться, а он медлил, и от этого ему и близким становилось только тяжелее. Надежда Викторовна тоже извелась, и Зоя, почувствовав неладное в отношениях между родителями, стала вспыльчивой и дерзкой. Начать сначала? Эта извечная, подстегивающая человека до седых волос тяга к переменам, к неизведанному, к новым местам и чувствам, кажется, теперь играла с ним злую шутку.

- Чего ты хочешь? – Это настойчиво, утром и вечером, пыталась добиться от него Надежда Викторовна. Убедительных, по ее мнению, доводов он не приводил, и потому она задавала один и тот же вопрос с болезненной настойчивостью. Он говорил себе, что уйдет завтра же, утром. Но приходило утро, и он уезжал на работу, а вечером, осуждая себя, ругая себя, возвращался домой. Ирина Ивановна не торопилась сказать свое исцеляющее «да». Все дольше, все мучительнее он представлял себе, как он будет жить без Надежды Викторовны и Зои, и как они будут жить без него, особенно дочь, которая всегда к нему тянулась, всегда – «папа, папочка!» Думая так, он только растревал рану, и вечером ехал домой, подчиняясь привычке и инерции. Если бы Ирина Ивановна поддержала его, думал Олег Федорович, все встало бы на свое место. Чего она ждет? Да, он ведь обещал, что разведется. Тогда чего ждет он? Приходить домой теперь становилось мучением. И все, все теперь было не так, как он хотел.

Он позвонил Ирине Ивановне с работы глубоким вечером, когда по его расчетам она была дома.

- Ирик, тебя! – услышал он мужской, с придыханием голос.

- Это я! – сказал он, как только она подняла трубку. Паузы почти не было. Значит, не было и неожиданности. «Слушаю вас, Олег Федорович!» - сказала она спокойно. Никакого душевного трепета, с неудовольствием отметил он, никакого распутья.

- Вспомни мост через Бурджар! Я звоню тебе в продолжение того разговора.

- И много с тех пор воды протекло под тем мостиком? – поинтересовалась она. Какой ровный, спокойный, выдержанный голос.

- Достаточно. Только то, что я тогда сказал, остается в силе.

- Вы опять об этом. Считаете, что ожидание ответа неприятно затянулось?

Какое олимпийское спокойствие! Вот она, беспросветность. Он пожалел, что позвонил. Он в ней ошибся. Или она в нем. Он предвкушал, но розовый туман все это, иллюзии.

- Давай уедем! – сказал он прямо. – Мне, знаешь, немоготу.

Трубка замолчала. Дыхание человека на том конце провода сделалось прерывистым, тяжелым. Принимать решения – самая тяжелая из работ. Сколько раз дочка просила: «Папа, реши мою задачу!»

- Куда? Мир велик! – сказала трубка.

Взвешивает, подумал он. То, что покупается, сначала тщательно взвешивается, вымеряется, оценивается. И на этом стоит мир. Все верно!

- Хоть куда, - предложил он.

- Зачем? – спросила трубка спокойнее.

- Значит, отказываешься?

- Тут мой дом, мои родители, моя работа. Все, что мне дорого – здесь, в моем родном городе. Ради чего же я все это брошу? Ради какой такой неизвестности? Я по ней не тоскую.

Вот и сказала. Ради него она этого не сделает. На вторую чашку весов положено слишком мало.

- Работа! – желчно сказал он. – Нашла, за что держаться. Работы везде полным полно!

- Вы удивлены, а я хочу довести свой объект до конца. Эксперимент с подрядом мне дорог.

- И Соколов, твой соавтор?

- И Соколов тоже. Только не он мой соавтор, а я его соавтор! – Трубка отказалась принять иронию.

- Тогда понятно.

Зачем он позвонил? Все сначала – что ж, давай, действуй! Но один. Твоя жизнь пошла наперекосяк, ты и выпутывайся из этой ситуации.

- Ничего вам не понятно, и не сердитесь, пожалуйста. Я не уеду. Я не какой-нибудь обломок кораблекрушения, чтобы носиться по волнам за тридевять земель от родного дома. Я все, все здесь люблю.

- Да, тебе здесь хорошо, а мне здесь плохо. Но извини, я обещал себе не перекладывать свои заботы на твои плечи.

- Надо выполнять обещанное! – назидательно произнесла трубка.

Вот так, по всем правилам игры, его сажают в лужу. Чтобы не мнил о себе. Его чаша весов недостаточно тяжела. У нее, видите ли, здесь любимая работа. Но... не надо! Не надо давать волю злости, минутной слабости. Она права, как бы она сейчас не поступила. У нее великое преимущество – она свободна. И мечты у нее другие, а он до сих пор не посвящен в них.

- Я понял, что ты меня не любишь. Правильно я понял?

- Я вам сочувствую.

- Только? – он невольно хватался за соломинку. Трубка захотела отмолчаться. Красноречивое молчание, подумал он. Разбитое корыто! Нет, только не это. Вперед и вперед! На другом конце провода – Жар-птица. Любить ее и стремиться к ней уже счастье.

- Прежде тебе не была свойственна обтекаемость.

- Вы тоже пока не хозяин своему слову.

- Я могу поспешить.

- Умоляю, не делайте этого ради меня.

- Мне не на что рассчитывать?

Снова молчание. «Я так не сказала!» – оповестила трубка.

- Я не мальчик, мне нужна ясность.

- Мне – еще больше, Олег Федорович.

- Значит, дело только за этим? Говори!

На этот раз трубка наполнилась долгими гудками. Вот и все, подумал он. У кого бы снять комнату? Диван в кабинете не выход. Походить по здешней окраине, постучаться в дома? Он вспомнил, чего больше всего боялась Надежда Викторовна. Лишь бы за всем этим не стояла другая женщина. Мудро она смотрит, в самый корень. Если за всем этим не будет стоять Ирина Ивановна, он долго не продержится. Да и само бегство из семьи потеряет смысл. Все сначала! Боль была сильной, пронзительной, мир переполнялся тоской по несбывшемуся. Битое стекло, на котором он стоял, как вкопанный, наконец, добралось до его босых ног, но сойти с него было не так-то просто.

Ее внимание вдруг раздвоилось; это было похоже на толчок. Она посмотрела в окно сначала рассеянно, ничем еще не привлеченная, потом вся подалась вперед. Но человек уже проходил, и дефект стекла, – она смотрела под острым углом, – не позволил ей разглядеть его. Она, однако, не сомневалась, что мгновение назад этот человек стоял под ее окном и, возможно, пытался увидеть ее. Это и заставило ее встрепенуться. Но человек, повинувшись какой-то своей мысли, а, точнее, испугу, поспешно отошел. Она была убеждена, что он отошел, почти отскочил в замешательстве, коря себя за мальчишеский проступок. Хотя, конечно, ничего с улицы в ее комнате не

увидел. Ирина Ивановна проводила взглядом его ломающуюся, от дефекта стекла, фигуру. Фигура была крупна и плечиста и, конечно, знакома. Кто?

Она почувствовала волнение. То, долгожданное? Этот человек спешил к ней, но какое-то обстоятельство помешало ему в последний момент поступить как должно: позвонить и войти. О том, что человек этот не собирался входить в дом и быть гостем, она не подумала. И вот крупной этой фигуры не стало в поле ее зрения, а вопрос, кто это может быть, остался. Выглянуть в окно мешала решетка, да и нескромно, поняла она. Сразу же повернулась к зеркалу, ибо мысль ее была выйти, удостовериться, что человек этот – к ней. Оглядела себя. Прическа ее устраивала, но халат не годился, она тут же сняла его и надела не первое попавшееся под руку платье, а шелковое, нарядное, висевшее в глубине шифоньера. Подумала про Конкина – неужели? И похолодела, поежилась, остановилась. Нет, нет! Конкин худ, нескладен, и тонкая фигура его, как вечный знак вопроса. Конкин отпадал, она обрадовалась. Не то чтобы она не желала его видеть. Ей было тяжело его видеть, ибо разговор, который должен был у них состояться, сулил только тяжелое, недоброе. Она не хотела вторгаться в чужую жизнь, ломать, взрывать ее и этой ценой строить свое счастье. Еще, пожалуй, Прохоров мог обладать такой фигурой. Но с какой стати – Геннадий Емельянович? Метания ему незнакомы. Уж кто-кто, а он, действительно, не мальчик. Он свое семейное гнездышко оберегает.

Она еще раз оглядела себя в зеркало. Теперь можно. Стремительно вышла во двор, кивнула старушкам, приклеившимся к скамеечке, подумала: направо? Налево? Ей надо было обогнуть свой дом. Перед фасадом был узкий заасфальтированный проезд, и незнакомец шел по нему. Почему – незнакомец? В фигуре, суть которой она схватила, мало что незнакомо. Тогда кто он? Налево было ближе, но он шел в противоположную сторону. Значит, направо. Она почти бежала, старушки даже обеспокоились, уж не случилось ли чего? Случилось, хотелось ей крикнуть им озорно, весело, и тем еще более распалить их любопытство. Случилось, случилось! Повернула за угол. Здесь начинался легкий пригорок, пыльный, скользкий зимой.

На пригорке стоял мотоцикл, хозяина близко не было, а на сидении лежала белая пластмассовая каска. Она быстро взошла на пригорок – никого. Идти дальше было бесполезно, она поняла это сразу. Человек, за которым она шла, где-то здесь, близко, за деревьями или за углом дома. Он видит ее и затаился. Так ему надо, так ему удобно. Смешно и странно, но она не возражала. Теперь она снова обратила внимание на мотоцикл. Она на нем ездила, на заднем сидении, а за рулем сидел Василий Соколов.

Эта разгадка показалась ей естественной, совсем не неожиданной. Протеста не последовало, несогласия – тоже. «Какой он... мальчик! – подумала она. – Стоит за деревом и краснеет, боится разоблачения. А ведь кажется, что уверен в себе, как никто другой. Вот, недавно Иноятова в бараний рог согнул. Какой он большой мальчик! Какой наивный!» Она наугад улыбнулась оранжевым кронам деревьев. Провела ладонью по теплой каске, лежавшей на седле. Еще раз взгляделась под кроны деревьев, потерявших половину листвы. Зеленая изгородь за деревьями была так же густа и зелена, как летом, а он, вероятно, стоял дальше, чем она думала, и она его не увидела. «И не надо, - сказала она себе, - я знаю, знаю, знаю!»

Домой она шла медленно, под ноги не смотрела. Старушек, улыбавшихся ей, не видела. Открытие было слишком большим. Оно заполнило ее всю, обволокло душу. Открывалось столько всего, что кружилась голова. Остальное не выражалось конкретными понятиями, но создавало приподнятость особого рода. То, что она предвкушала, случилось, жизнь не обманула, и она тоже была права, когда ждала своего часа.

«А как же Олег Федорович?» - тотчас спросила она себя. Он тоже ждал и надеялся, и она чувствовала на расстоянии, как ему плохо. Так плохо было ей, когда она увидела, что Аркадий – прошлое в ее жизни, что ее ожидания обмануты самым обыденным образом. К счастью, этот мелькнувший у ее окна мужчина – не Олег Федорович. Олег Федорович взбаламутил, взвихрил все вокруг себя, а сам не сдвинулся с места ни на йоту. Разговоры и самолюбование, а дело откладывается на неопределенное будущее.

Но, ведь, он обаятелен, сказала она в его защиту. Этого у него было не отнять. Он был в состоянии увлечь девичье воображение. Человек, сотканный из противоречий, из желаний, исключаящих одно другое. Человек, связанный по рукам и ногам всей своей предыдущей жизнью и предыдущими обязательствами, которые так просто с себя не сложишь. Пошла ли бы она за Конкина, если бы Олег Федорович был свободен? Такие, как он, никогда не свободны. Они настолько не свободны, что одиночество совершенно не свойственно им. «Ира, ты радуешься! – вдруг сказала она себе. - Только вот чему ты радуешься?» А Соколов, подумала она, человек совершенно другого порядка, сильный, целеустремленный, надежный. Человек, которому не свойственно двоиться и троиться. «Ира, ты радуешься, что такой человек есть? – спросила она себя. И ответила: - Радуюсь. Ну и что? Прикажете не радоваться? А я не подчинюсь, тут я сама себе командир!»

Было тихо, как только может быть в большом городе. Ночь, конечно, была полна звуков далеких, просачивающихся сквозь плотные портьеры неизвестно откуда. Кто-то прошел по асфальту, торопясь домой. За котельной, где был район индивидуальной застройки, залаяла собака, ей стали вторить другие. Веселое это

тявканье совершило какой-то свой замысловатый круг и погасло, исчерпав себя. Вдруг заголосил петух, нелепо, несуразно, и Ирина Ивановна подумала, что никогда прежде не слышала в городе петухов – что за наваждение? Самолет заявил о себе басом моторов. Потом прогрохотал поезд. После поезда все было тихо, тишина установилась почти полная, не городская. Блики света прорывались в окно – фонари? Чужие окна? Но в чужих окнах тоже должно быть темно. Прежде чем упасть на стену белым неконтрастным пятном, свет этот просачивался сквозь кроны деревьев, оставаясь тонким до прозрачности. Ветер мягко прикасался к кронам, шевелил сухие листья, и пятна света на стене медленно двигались, повторяя перемещение ветвей. Какая приятная ночь. Прекрасная ночь, полная счастливых тревог и надежд. Да, она счастлива. Просто счастлива, ибо нельзя быть счастливой больше или меньше, очень или чуть-чуть, как нельзя любить сильно или слабо, а можно просто любить или не любить. Когда любишь, еще подумала она, у тебя есть все-все и даже больше. Когда любишь, ничего другого тебе не надо. Ибо ни на что другое ты уже не претендуешь.

Ее любят! Ее любит Василий Павлович Соколов. Никогда и мысли близкой об этом не подступало. Правда, о нем она думала, даже пыталась представить себе, какой он, а о себе и о нем – никогда. Почему? Да потому, что все в их отношениях строилось на деле и для дела, и что-то еще, что-то помимо этого в них не вплеталось, дело не подразумевало инородных включений. Она не думала о нем, как о мужчине, а он не думал о ней, как о женщине. Не думал, да вот подумал, улыбнулась она. Когда? И что его толкнуло? Она сгорала от любопытства. Ее интересовало самое первое побуждение, его первый еще не выросший в глубокое чувство интерес. Еще ничего нет, один намек и любопытство, не более, а после, совсем через маленький промежуток времени, уже что-то есть, драгоценный росток, который лелеют и не дают в обиду. Вокруг такого ростка ходят на цыпочках и с приоткрытым ртом, стремятся, чтобы он быстрее наполнялся жизненными соками. Не было – и есть, и нет уже ничего лучше этого изумрудного ростка, быстро тянущегося к солнцу. Как это получается, как приходит? Самый первый исток – что вызвало его к жизни? Блики на стене молчали, и было тихо, а на кухне через равные промежутки капала вода из крана. Занудно так капала, с интервалом секунд в десять. С Ириной Ивановной происходило непонятное. Надо же, сразу так закружиться, возвыситься и мчаться в неизвестность, ни о чем не заботясь и не беспокоясь, ибо все должно устроиться как нельзя лучше. Любит, в который раз говорила она себе, щеки ее пылали. Ей было жарко под тонким шерстяным одеялом и при приоткрытом окне. А еще вчера она замерзала.

Что она о нем знает? Мало, но вполне достаточно, чтобы поверить. Кстати, а кто, в наш век равноправия и полной эмансипации женщины, должен за кем идти, он за ней или она за ним? Какая разница, засмеялась она. Представила его рядом с собой на тротуаре, вечером – он в светлом костюме, загорелый, статный, она в голубом шелковом платье, тонкая, улыбающаяся, ее рука в его руке. Значит, она за ним, и пусть. И пусть на них смотрят, оглядываются. Пусть вспоминают, так ли у них начиналось или нет. Что он будет ей рассказывать? Отец удивится, может быть, станет возражать. И мать удивится. Мать хочет видеть ее замужем за интеллигентом, эдаким эстетом с бесконечными «пожалуйста» и «будьте любезны». Удивляйся, дорогая! Сама увидишь, что к чему. А в обычной жизни «пожалуйста» и «будьте любезны» не всегда нужно произносить вслух. Надо лишь, чтобы они присутствовали в душе человека и в его поведении.

Они купят «Жигули», вдруг подумала она, мотоцикл вещь слишком опасная. И потом, их ведь со временем будет полная машина. Она зарделась от этой мысли, застеснялась даже наедине с собой. Давно ли она мечтала, чтобы некий стройный симпатичный юноша остановил ее в парке или прямо на улице и без всякого вступления, неожиданно позвал за собой. Она очень об этом мечтала, и молодые люди, которые в ее воображении отваживались на это, часто имели черты вполне реальных людей, были похожи на тех, кто проявлял к ней интерес. Она бы сразу сказала «да», сразу и с радостью. Какая она была девочка и как долго оставалась ею! Все мечты, мечты, все полеты куда-то, все придумывания, а потом быстрое возвращение на землю, быстрое пробуждение, краткий отдых и снова в путь, снова в голубые дымчатые высоты. Она умела так направить свою мысль, что ей становилось хорошо, она придумывала и жила этим, а то, что окружающие не всегда ее понимали, ее даже устраивало, она не любила объяснять себя, открываться и откровенничать. Ее ведь могли и не понять, а она очень этого не хотела.

Теперь ей было стыдно за парк и за улицу. То, о чем она мечтала недавно, была лотерея, а лотерейное счастье зыбко и неразборчиво. Точнее, оно очень избирательно. Но, все-таки, ведь был у нее идеал, и позвать должен был не первый встречный, а человек из ее мечты. Человек, вышедший к ней навстречу из ее воображения. Ее идеал, теперь она знала, был почти бесплотен, набор положительных качеств и стандартное волевое лицо. Все в наличии, но без изюминки, создающей индивидуальность. Однако те реальные люди, которые подходили к ней, плохо укладывались в заранее заготовленные рамки, точнее, совсем в них не укладывались. Что-то всегда выпирало чужое, она отшатывалась, разочарование угнетало ее, а потом сменялось новым терпеливым ожиданием. Так она жила до Аркадия. С Аркадием она потеряла голову, и много чего еще потеряла. «Как я все объясню?» – вдруг подумала она, и горечь облила ее сердце. Эта пытка впереди пугала. Можно, конечно, не объяснять, она не ответственна перед ним за свою жизнь до встречи с ним, ведь она не собирается расспрашивать его об этом же. Но лучше без тайн, неясностей и умолчаний. Умолчав о том, что было прежде, можно и потом

умалчивать, можно сделать это линией поведения, и тогда ничего хорошего не будет, а будет у каждого свой обособленный внутренний мир, в который затруднен доступ другому. Она считала, что это не есть хорошо.

Мой прежний идеал, подумала она, и этот реальный человек. Не красавец, скорее напротив. Но улыбка-то мягка, обаятельна. И впечатление силы – первое, какое он производит. Ей же не в кино с ним сниматься. Впрочем, такие мужчины нравятся в кино, а не одни рафинированные красавчики, которым все блага сами текут в руки. Как он ее выделил, за что? Скоро она узнает. Расспросит подробно-подробно, как только увидит, что спрашивать не стыдно. Ведь это так интересно. Вася. Василий Павлович Соколов. Как она будет его звать? Как-нибудь особенно? Вдруг ей стало стыдно, что она плохо готовит, не умеет шить, значит, плохая хозяйка. Дом всегда лежал на матери, она только помогала, выбирала себе что-нибудь попроще. Безрукая жена – это плохо, он будет недоволен. Научусь, сказала она себе. Сказала твердо, для нее это было дело решенное.

Пришло сомнение, а вдруг это всего-навсего случайная остановка мотоцикла, неисправность, и только? Тогда он был бы занят ремонтом, не прятался. Нет, случайность нелогична. Она с негодованием отвергла эту мысль. Поверь она в случайность, жизнь ее снова становилась бледной. Но ведь и так могло быть, случайностей всегда достаточно. От сознания того, что и так могло быть, ей стало холодно и одиноко. Так уже было, повторения не надо. То жарко, то холодно, подумала она, зачеркивая мысль-сомнение, и на душе опять посветлело. Хватит разочарований. То, что пришло к ней, – ее, заслуженное и выстраданное. Завтра она спросит: «Василий, это вас видела я вчера возле моего дома?» Нет, не спросит. Никогда! У нее будет гордо поднята голова, и пусть он любит ее. Пусть мечтает о ней, как о Наяде. Как о своей Наяде.

Почему ночью не как днем, подумала она. Почему ночью хочется докопаться до самой сути? Потому что ночью можно проснуться и быть под впечатлением только что виденного сна, и переживать такое, чего не бывает днем, чего вообще не бывает, не должно быть, но что потом долго кажется реальностью. И еще потому, что ночью никуда не спешишь, ночью тебе не мешают и за тобой не подглядывают, ночью ты наедине с тем, что тебе особенно дорого, а все преходящее далеко-далеко, за чертой ночи. Ночью человек чище, еще подумала она, ночью ему хочется быть лучше. Ночью человеку хочется соответствовать самым высоким идеалам.

Тогда почему же под покровом ночи совершается столько преступлений? Потому что ночь прячет? Да, ночь скрывает, как вода. Но это ее не касается, это не из ее мира. Ночь хороша тем, что она сможет увидеть его близко-близко, и сможет говорить с ним обо всем – обо всем, а он будет отвечать тоже без стеснения. Вот чем еще привлекает ночь. Ночь освобождает человека от стеснения, и он остается сам с собой, со своим сокровенным. День это сразу разрушает, ночь – никогда. Ночь фокусирует на этом все внимание.

За ужином отец что-то подметил и улыбнулся, ободряюще так улыбнулся. Милый мой пронизательный человек! Теперь начнет подтрунивать. С тех пор, как она помнила себя, она помнила любовь и заботу родителей, ненавязчивую и постоянную. Теперь же ее ждала другая любовь, не похожая на родительскую. Ее словно вывели на людной перекресток, но перекресток этот оказался гребнем волны. Вся жизнь вдруг открылась ей сверху, но как стремление к тому, что пришло к ней теперь, как достижение цели. Теперь открывались новые цели и новые вершины, и это было замечательно.

«Размечталась, милая!» – сказала она себе. И опять подумала про Олега Федоровича. Теперь их, претендентов на ее сердце, двое, Соколов и Конкин. Или Конкин и Соколов? Двое, а ей спокойнее. Один Конкин – все непросто, метаниям и распутью не видно конца. Сплошная неопределенность. «Мученик, – подумала она про Олега Федоровича. – Вот возьму и пойду за ним. Облегчу его участь». Она могла поступить и так, у нее было право и на это. Почему тогда, на мосту через Бурджар, она не подавила в себе жалость? Не сказала «Нет!» решительно и бесповоротно?

Конкин и Соколов. Она поставила их рядом, а потом поместила в чаши весов. Она представила себе эту картину – большие весы, большие медные чаши, и в одной высокий, несуразный Олег Федорович, пронзающий ее грустным взглядом, а в другой – массивный, улыбающийся Василий Соколов, великодушно прощающий ей большие и маленькие слабости. Она подумала, что одна из чаш устремится вниз сразу, но этого почему-то не случилось, и чаши застыли в равновесии. Что это, сон, подумала она, почему так? Вот тебе, Ира, и полная ясность! Ясность пока отсутствовала. Чему же тогда она обрадовалась, что возомнила?

«Он такой же фантазер, как и я», – вдруг подумала она про Соколова. Это она знала наверное и ценила, это качество казалось ей счастливым. Стремиться к совершенству, – что может быть выше этого? Эта мысль передавала и ее настроение, она чувствовала, что способна на взлеты. Вот это и надо поощрять в себе и возвращать. Она опять увидела Василия близко-близко. Ей надо было постоять у мотоцикла, дожидаться его возвращения, а потом поехать с ним, куда глаза глядят. Почему же днем она отвергла это? Застеснялась? Или потому что день не как ночь?

«Смешная! – сказала она себе. – Ира, ты очень смешная. Смешная счастливая Ирка!»

Ее любили. Она знала, все только начинается. Все самое хорошее, и самое желанное, и самое мучительное. Неопределенности, однако, пока не кончались, но она не стала заострять на этом внимание. Рассветало замечательно как хорошо. И таким же обещал быть день, – синим-синим.

Мотоцикл мчался навстречу синим горам. Кончался ноябрь. Зима в последние годы, однако, опаздывала, и солнце оставалось ярким, а воздух – теплым. Пятнадцать градусов тепла и синее небо – прекрасно для этой предзимней поры. За обочиной мелькали пустые поля. Были убраны и хлопок, и кенаф, капуста, кукуруза. Скворцы сбивались в плотные черные стаи. Прилетели вороны и галки и важно расхаживали по опустевшим плантациям. Казалось, что эти погожие дни последние, но так могло продолжаться долго, и новый год теперь часто встречали без снега и в тепле, зато потом зима наваливалась и брала свое и долго не пускала весну.

На заднем сидении мотоцикла сидела Ирина Ивановна и крепко держалась за Соколова. У Василия было приподнятое настроение. Вчера вечером, когда он собирался уезжать домой, Ирина Ивановна подошла к нему. Улыбнулась, как улыбаются другу. «Садитесь, подвезу!» – предложил он.

- Хорошо. Завтра, - сказала она, наслаждаясь его замешательством.

- Куда?

- Туда, где растет барбарис. – Она колебалась, решиться ли ей подойти, ведь это почти признание.

Но и его мотоцикл перед ее домом был почти признанием. Она решилась. Так она сняла с него напряжение, в котором он пребывал все эти дни. У нее теперь был друг. Мальчик, как про это говорили в школе. Соколов заехал за ней в десять, а до этого успел заехать в магазин спортивных товаров и купить ей защитный шлем, и успел побывать на базаре. К багажнику был приторочен легкий рюкзак, в котором лежали кастрюля и всякая снедь для маленького пикника. Ему казалось, что мотоцикл сегодня старается, как живое, любящее его существо. В городе было посвободнее, чем в будни, и они быстро вырвались на автостраду, свернули на алмалыкское шоссе, пересекли почти сухой Чирчик и, миновав цепочку озер «Рахат», окунулись в загородные просторы. Добрались до Паркента и повернули направо, в Кумышкан. Потянулись желтые лессовые предгорья.

- Здесь мы проходили практику по геологии! – крикнула она. Холмы повышались, переходя в склоны доступной крутизны; желтые обрывы были испещрены пустыми ласточкиными гнездами. Настоящие горы были не так уж далеко, и многие из них не сняли перед летом белые свои шапки. В следующий раз, подумал Василий про далекие синие пики. Им будет посвящено следующее лето.

Они въехали в какой-то сай, подъем стал круче, пришлось включить первую скорость. Мотоциклу становилось тяжело, двигатель быстро грелся. Но им открывались все новые и новые просторы. Осень полыхала, ярко передавая все оттенки желтого цвета, и оранжевого, и красного. Потянулись тополевы и березовые рощи. Березы дружно облетали, а верхушки тополей еще были зеленые. Особняком в желтых чащах стояли красные кусты барбариса. У дикого винограда тоже были красные листья. Ирина Ивановна и не знала, что есть на земле такая яркая красота. Она помнила только городскую осень с кострами из сухих листьев и с хрустящими листьями под ногами.

На людях деревья увядали не так, как в лесу, красота осени в городе скрадывалась пылью, домами, дворниками, выметающими листву из-под деревьев. Она улыбнулась, теперь она часто улыбалась чему-то. Много смутного, неясного, устремленного в завтрашний день скапливалось на душе, много такого, чему она не давала оценки. Но ей было хорошо. Легкость, с какой она входила в эту новую полосу своей жизни, была потрясающая. Все теперь она делала легко, с охотой, все у нее получалось с первого раза, земля сама носила ее, и ей казалось, что, оттолкнувшись от нее и расправив руки, она может полететь.

Василий свернул на поляну. Вынул ключ зажигания, двигатель нехотя смолк. Раскидистый, на три четверти облетевший тополь заслонял полнеба. У говорливого ручья стояли березы, почти голые. Зато под ними было столько сухой листвы, что в ней утопала нога. Низкие деревья боярышника были усыпаны мягкими желтыми плодами. Кусты шиповника тоже покрывала броская оранжевая ягода. Поодаль возвышался красный куст барбариса. Василий прислонил мотоцикл к тополи. Отвязал рюкзак, постелил на мягкой траве одеяло. Из полиэтиленового пакета извлек прокопченную кастрюлю. Опорожнил рюкзак. На одеяле, в полотняных мешочках лежали хлеб, баранина, помидоры, лук, морковь, рис и, отдельно, стручок горького перца.

- Опа! – воскликнул он, хлопнул в ладоши и причмокнул. – Посмотрим, какая вы хозяйка!

- Чур, готовите вы! Чур, готовите вы! Я пошла за дровами! Ура-ура!

- Закрепощаете, - обиженно произнес он.

- Жаловаться можно даже в Организацию Объединенных Наций!

Она уже несла откуда-то сухую ветку.

«Мало!» – пробасил он и тоже пошел за дровами. Близ дороги, конечно, хвороста было не густо, но они и не собирались жечь костер до неба. Он принес охапку сушняка. Нарвал полный шлем боярки. Боярка была сладкая, но с привкусом крахмала. Высыпав боярку, нарвал шиповника. Она позвала его: «У ручья ежевика!» Колючие плети ежевики обрамляли каменистое ложе ручья, ягода здесь не держалась долго, но плодovitость ежевики была велика, природа щедро возобновляла то, что брал человек. Василий залез в самую гущу и передавал ей оттуда лиловые гроздья. Она ела, губы почернели от сока. Вкуснее всего была слегка подвяленная

ягода, светло-лиловая, с налетом пыли. Потом он показал ей на куст шиповника, оплетенный сильной виноградной лозой.

- Поищем? – Он и здесь полез в самую гущу, совсем скрылся из виду в колючих ветвях, ободрал ладони, но извлек-таки из сумрачных недр тяжелую, килограмма на два, кисть винограда. Это были крупные розовые виноградины какого-то хорошего культурного сорта, чуть-чуть привядшие, один сахар, нет, «половина сахар, половина мед», как расхваливали такой виноград на базаре. Она, как девочка, позавидовала удаче. «Какой вы везучий! – сказала она. – Никто не увидел, а вы углядели».

- Вас вот тоже углядел! Но не могу сказать, что первый положил на вас глаз! – засмеялся он. Кисть держал бережно, как охотник – добычу. Теперь, когда они вдоволь попаслись на подножном корму, можно было браться за настоящее дело. Сложив тонкие сухие веточки шалашиком, он внес внутрь зажженную спичку. Огонь занялся сразу. Он притащил два плоских камня, получился очаг. Примерил кастрюлю. Огонь пылал, и он положил в костер сучья потолка. Ему всегда нравился костер, языки пламени несли неразгаданное. Огонь дарил людям тепло и свет, а взамен требовал одного – уважения. Ира умолкла, огонь и ее завораживал. Она почистила четыре картофелины и лук, и он постепенно положил в кастрюлю все, начиная с мяса и выдерживая нужные паузы. Последними он положил помидоры, зелень и половину стручка горького перца.

- Учитесь, - приговаривал он, - я не часто буду снисходить, а вы учитесь!

Он старался немного ее раззадорить, а она смотрела на него, потом, быстро, на огонь и снова на него и не возражала. Он не отступал, призывая учиться и быть доброй хранительницей домашнего очага, и она возразила, когда он не ожидал.

- А вы провалили бригадный подряд, вот! – Она улыбнулась, довольная. Пусть привыкает к женской логике, непознаваемой и потому великой.

- Зато нашел вас!

- Может быть, - загадочно сказала она. – Может быть, нашли, а, может быть, и нет.

Он посмотрел на нее изумленно, словно сделал что-то не так, но не заметил этого сразу, и она подумала, что его тоже легко ранить, как и Конкина.

- Подряд я провалил потому, что вы мало за меня заступались.

- Я не смогла заступиться. Меня отовсюду вежливо выпроваживали.

- Значит, в другой раз. – Он уже пережил все то, о чем говорил, и первая боль прошла, самая острая, но осталась боль глубинная, нудная и долгая, ведь все его старание и умение, все хорошее в нем и его людях не смогло отвести неудачу.

- Как здесь замечательно! – сказала она, уводя его в сторону от наболевшего. – И много таких чудесных мест вы знаете?

- Сколько хотите. Чимган, Бурчмулла, Акташ, Хумсан. Мы будем много ездить. – Он развел руками и аккуратно выгреб угли из-под кастрюли.

Головни задымили, не подпитываемые жаром друг друга. Вдруг он сказал, серьезный, озабоченный:

- То, что у вас было до меня, это только ваше, и то, что у меня было до вас, это только мое. Мне оно уже не нужно, и ничего мне там не жалко, но все равно это мое. И у вас пусть будет так. А то, что у нас начинается теперь, это уже наше, и этим мы будем делиться и оберегать сообща. Согласны?

- Почему вы... так решили? – Она покраснела, она этого не ожидала. Он освобождал ее от ее прошлого. Точнее, дарил его ей целиком. И себя он освобождал от своего прошлого, но ей это было не важно, ее мучило только ее прошлое, в котором она должна была признаться. Она внимательно на него посмотрела. Она его не знала и узнавала постепенно, медленно-медленно. По ее мнению, он проявлял сверхделикатность.

- Не хочу лишних исповедей, без них, поверьте мне, лучше, - пояснил он.

- Спокойнее?

- Просто лучше.

- Исповедь очищает.

- Мы чисты друг перед другом, вы и я. Я так думаю. И едва ли исповеди сделают нас чище.

- Вы правы. Но вы меня ошеломили. Надо подумать, как и что. Вы знаете, бесследно в человеке ничто не угасает.

- И пусть не угасает. Не надо только ничего выпячивать из прошлого. Оно оставило нам опыт, и достаточно. Вот наше поле, а вот мы, молодые и сильные, и нам надо вспахать наше поле, засеять и собрать урожай. И опыт прошлого пусть будет с нами, но без исповедей, без постоянной оглядки назад. Я вам верю. И потом, я хочу облегчить нам начало.

Она рассеянно кивнула.

- А шурпу будем есть по-походному, прямо из кастрюли, миски я упустил из виду. Извиняете?

- Извиняю. На первый раз!

Он нарезал хлеб. Достал две ложки. Все он предусмотрел, и ей понравилась эта черта в нем. Но впечатление от того, что он оградил ее от необходимости рассказать о себе все-все, было сильнее. Что это?

Великодушные, пронизательность? Сверхделикатность? И то, и другое, решила она. Он совсем не прост, увидела она, но не удивилась этому. Спросила: «А почему вы решили, что так будет лучше?»

- Думал много. О вас, о себе. Но больше о вас. Ешьте, пожалуйста. Ешьте и хвалите!

Она похвалила после первой же ложки. «Кулинар!» – сказала она. Шурпа, действительно, вобрала в себя всю щедрость здешней земли. Они черпали ложками из одной кастрюли – идилия.

- Вы где стояли, когда я подошла к мотоциклу? – вдруг спросила она. Он понял, о чем вопрос, и застеснялся. Сказал: «За углом дома. А вы были на ярком солнце».

- Трусишка зайка серенький!

- Оробел, правда.

- Я могла вас неправильно понять?

- Я сам столько всего перед собой воздвиг, что не мог перепрыгнуть через все это.

- Вы с каких пор себя помните?

- Детский сад помню, но лет с пяти. А раньше, совсем маленьким, не помню себя совершенно. Как будто меня и не было раньше. Помню, как игрушечной лопаткой хотел вырыть пещеру. Это была бы только наша пещера, и двое пацанов копали со мной, увлеченные. Вымазались, но были довольны. К обеду выкопали яму, в которую можно посадить куст роз. Мы устали, идея иссякла, продолжения не последовало. Еще помню, у нас был мальчик с дыннообразной головой. Вундеркинд. Читал нам сказки вместо воспитательницы. Не по складам читал в пять лет, а бегло, как школьник-старшеклассник. Потом я его не встречал. Я бы непременно узнал его по голове-дыне.

- А мое самое первое впечатление – это кубики. Я часами играла в кубики, хранила их в большом мешке. Строила и строила – дома, города. Плакала, если отец и мать не выражали одобрения. Плакала, если у отца получалось красивее. Он всегда строил красивее. Наверное, поэтому я не пошла в архитекторы. Я не умела придумывать того, что придумывал он.

- Что вы любите?

- Люблю быть в человеческой гуще, но не растворяться в ней. Чтобы от меня что-то значило, зависело. Люблю, когда у меня получается задуманное.

- Это я знаю. Это и я люблю.

Она вскинула изумленные глаза, попросила пояснений.

- Это в вас легко разглядеть, – засмеялся он.

- А вы что любите?

- Люблю удивляться. Люблю, когда что-то большое и новое оставляет глубокое впечатление. Вроде бы, живешь ровно, все вокруг привычное, все повторяется изо дня в день. И вдруг... Вот эти «и вдруг» я люблю больше всего на свете. Закономерную случайность обожаю, так называются эти «и вдруг». Тишина, покой, наезженная колея, а в следующий момент взрыв, встряска, и каждый старается показать себя, даже стремится стать лучше и выше себя. Ну, хотя бы наш подряд взять. Нехитрое дело, а сколько людей воодушевилось!

- Я тоже ваше «и вдруг»? – спросила Ирина Ивановна.

- Тоже. Но не буквально, тут масса всего вплетается. Я не могу сказать, когда это пришло. Ничего не было, а потом уже было все, но никакой черты я не пересекал, никакого внутреннего толчка не ощущал. Просто уже все было. Взяло и возникло словно из ниоткуда. Я бесился, но не мог не поехать к вашему дому. Не мог приказывать себе остановиться и не делать этого. Вы рады?

- Не знаю. – Она посмотрела на него весело-весело. И от костра, который пылал в ее глазах, ему стало теплее, чем от огня, горевшего в очаге. Потом огонь в ее глазах стал тускнеть, туманиться.

- Вас ждет еще одно «и вдруг»! – сказала она. – Конкин Олег Федорович.

Он понял, что это очень серьезно.

- Поясните. Я давно хотел знать, как он к вам относится.

- Я имею его признание в любви.

- И что? От ворот поворот?

- Нет. Он сказал, что разведется с женой.

- Дали повод?

- Тоже нет. Ни прежде, ни теперь.

- Выжидаете?

- Опять нет. Он, знаете, мне дорог. А вот как он мне дорог? На всю жизнь или сейчас, когда ему тяжело, а я сострадаю? В этом и хочу разобраться. Хочу – и не могу.

Воцарилось молчание. Изменилось выражение лиц, изменилось все, сам свет дня стал другой, тусклый и зыбкий. Все стало гаснуть, меркнуть. Мгновенно восторжествовали серые тона.

- Спасибо, что сказали. Значит, нас перед вами двое.

- И да, и нет.

- Понимаю. Ваш выбор буду уважать, а пока на этом – точка. Больше в это не углубляемся! Вот что, давайте есть виноград!

Ягоды на огромной янтарной кисти были крупные, упругие и вкусные. Они хранили холод горной ночи. Теперь она чувствовала себя скованно, и он – тоже. Могла бы не говорить о Конкине, подумала она. Но Олег Федорович еще не был ее прошлым, и тут предложенный Соколовым уговор не действовал. Василий снова раздул огонь и стал варить компот из ягод ежевики, барбариса и шиповника. Она следила за ним, как он подкладывает дрова, разламывая сучья по длине очага, как помешивает красноватое варево, стараясь раздавить ягоды ежевики о стенку кастрюли, как осторожно кладет сахар, чтобы не перебить сахаром естественного вкуса лесных ягод. Он все умел, ей так казалось. Когда компот был готов, он поставил его в ручей остужаться. Потом принес кастрюлю на вытянутых руках, не расплескав ни капли. Пили по очереди прямо из кастрюли. Она видела в розовой жидкости свое отражение.

- Почему – я? – спросила она, резко повернувшись к нему. Ее ладонь, лежавшая на байковом одеяле, дрожала.

- Потому! – сказал он. – Увидел и выбрал, и все. А вы взяли и ударили меня по голове вашим Конкиным. Я как предчувствовал...

Она посмотрела на него внимательно-внимательно. Сколько раз ему и Олегу Федоровичу она еще сделает больно? А себе? Вершина любовного треугольника – такая же зыбкая, как и вершина волны.

28

О том, что с ней происходило, Ирина Ивановна могла сказать только одно: теперь она жила полной жизнью. Чувства были обострены, она выбирала. Кому-то, Соколову или Конкину, она должна сказать «нет», и это, оказывается, было так же сложно, как одному из них сказать «да». Она не могла приобрести, не потеряв при этом чего-то, ей уже дорогого, не сделав кому-то очень больно, - и себе тоже. Себе даже в первую очередь. Как ценно будет приобретение и как велика потеря? Рассуждать тут было почти невозможно, все взвешивалось и решалось интуитивно и, наверное, помимо нее, и то, чему она очень обрадовалась вначале – любовь Соколова, теперь иногда воспринималось ею, как тяжесть невероятная, все страшно усугубившая.

Пока ее предвидение касалось только самых простых вещей: с Соколовым, предсказуемым и понятным, ей будет проще, много проще, с Олегом Федоровичем тяжелее, напряженнее. Но полнота жизни и простота отношений далеко не одно и то же. Она, однако, не считала, что запуталась. Никому еще ничего не обещано, не дано слово, а поступит она только так, как ей повелит сердце. Жалость, сострадание – нет и нет, только любовь. С Конкиным она вела себя вызывающе, почти грубо, а с Василием Павловичем была мягка, словно заранее просила извинить ее за возможные осложнения. Предпочтения же не отдавала никому.

А на стройке ее царило запустение. Ирина Ивановна поднималась на крышу, подставляла ветру горячее лицо, смотрела на пустые предзимние поля, на белые городские кварталы и сизый укутывающий их купол смога, но тишина и безмятежность не приносили спокойствия. Его могло принести только принятое решение, только сказанное ею «да» одному из претендентов на ее сердце и «нет» - второму.

Однажды ее уединение было нарушено. Она смотрела, как по кольцевой автостраде беззвучно бегут бесконечные машины, и думала, что Конкин не так уж не прав, предлагая уехать. Сзади раздались быстрые шаги. Она обернулась, ни к чему не готовая, рассеянная, жалеющая уже не Конкина и не Соколова, а только себя. На нее большими округлившимися глазами смотрела Надежда Викторовна.

- Здравствуйте! – сказала жена Олега Федоровича. – Ради Бога, извините за это вторжение. Непрошенный гость всегда в тягость, а себя я даже к непрошеным гостям не могу причислить. Вы меня ненавидите? Презираете?

- Помилуйте, за что? – удивилась Ирина Ивановна. – Я вас не знаю. Я знаю, что вы Надежда Викторовна, жена Олега Федоровича, и все. И мне ли вас ненавидеть? На это надо право иметь.

- Но вы знаете, что Олег Федорович решил уйти от меня. Я понимаю, что не имею права быть сейчас у вас, говорить с вами, но речь идет об очень для меня важном – о моей семье. Я хочу ее сохранить.

Ирина Ивановна не сделала протестующего движения рукой: «Я-то здесь при чем?» Она только кивнула. Надежда Викторовна увидела в этом ее движении не помощь и поддержку, а боль и тоску.

- Еще раз извините. Я места себе не нахожу.

- Я не враг вашей семье. Но я, поверьте, не знаю, в чем ваши проблемы, Олег Федорович этого никогда не касался, а я не допытывалась.

- Но может статься, что Олег Федорович уйдет к вам.

- Такого его намерение, - сказала Ирина Ивановна.

- Вот видите! Он не сказал об этом, то есть о вас конкретно, но я догадалась. Я бы хотела, чтобы вы не поощряли его.

- Этого не было никогда, поверьте!

- Теперь, видя вас, я знаю, что этого не было, вы не хищница в юбке, просто ваши достоинства его воодушевили. Тут все сложнее, но тем, наверное, и хуже для меня. Простите! Все идет кувырком, все разрушается, и мне трудно говорить, находить правильные слова. Все сначала – это не для него, поверьте! Он начнет тосковать, по дочери сильнее, чем по мне, и изведет вас своим постоянным надрывом. Он не постесняется обвинить вас в своих новых несчастьях, как сейчас обвиняет меня в несчастьях текущих. Я вас уважаю. Только потому я у вас со всей своей болью. Я рассчитываю на ваш здравый смысл. Вы красивы, молоды, не заражены цинизмом. Вы лучше меня! И сейчас, когда у нас надломилась совместная жизнь, вам легко увлечь его, но в ваших силах и остановить его. Скажите мне прямо: вы любите Олега?

- Я не знаю. Пожалуй, нет. Не спрашивайте меня о том, чего я не знаю!

- Вы очень облегчили мне душу. – Неопределенность ответа Надежда Викторовна приняла за отрицание. – Если бы вы любили, все было бы хуже. Я буду бороться. Ведь глупо все свое отдавать, да и неправильно, несправедливо. Особенно в отношении дочери несправедливо. Помогите мне!

«Кто бы мне помог?» – подумала Ирина Ивановна.

- Не понимаю! – сказала она.

- Боже мой, это так просто! Будьте с ним холодны.

Она и так с ним холодна. Вершительница судеб, подумала она о себе. Казню и милую и выдаю дарственные, в которых целые состояния. Не надо паясничать, эта женщина права!

- Вы не будете его потом ни в чем укорять?

- Что я, ненормальная? Словом не обмолвлюсь о дне вчерашнем, об этом распутье. Я за эти дни столько настрадалась и столькому научилась! Когда все рушится на тебя, а ты не хочешь этого, тебе дорог и сам человек, и все то, что тебя с ним связывает, – это страшные дни, и ты противишься этому всеми силами и способами, какие знаешь.

- Я вас понимаю.

- О нашей встрече я не скажу ни слова. Это наша тайна. Он не должен знать, что мы виделись, говорили. Ему лучше этого не знать.

- Разумно. А что вы бы сделали, если бы мы уехали?

- Для меня все бы погасло. Я бы, пожалуй, поехала за ним. С дочкой. Но не сразу, а через месяц, через два. Я бы все рассчитала. Он бы непременно затосковал по всему тому, что оставил. Тут бы мы и приехали. И я добилась бы его возвращения.

- Да, наверное. Пожалуй. Вы правильно все просчитали. А месяц вы бы потерпели. Так! Теперь я знаю, чего мне ждать, если мы уедем.

Они посмотрели друг другу в глаза. Каждой из них приятно было сознавать свою силу. Надежда Викторовна сказала: «Но вы не сделаете того, о чем сейчас подумали! Вы не уедите с ним. Вы так не поступите никогда. Иначе... Иначе вам будет всю жизнь стыдно. И стыд вас измучит, иссушит. А перед Олегом я очень виновата. И все же уезжать вам с ним не надо!»

- Пусть стыдно. Я не знаю, помощница ли я вам. До свидания! Нет, минуточку. Я вам скажу, это надо! Я, кажется, люблю вашего мужа. Теперь – до свидания.

Надежда Викторовна сразу стала как-то ниже ростом, увяла и стройность ее, и красота. Ирина Ивановна смотрела, как она шла неширокой дорогой к автостраде. Она шла долго, не оглядываясь. Маленькая согбенная горем женщина, которая стремится сохранить свое гнездо. Потом ее подобрал автобус. «Жестокая!» – сказала себе Ирина Ивановна и стала тереть холодными ладонями горячие свои щеки и лоб. Прохладный ветер не мог охладить ее лица. Постепенно в ней утверждалась мысль, что Надежду Викторовну с уходом мужа ждет несчастье, и она не вправе говорить себе, что это ее не касается.

Лора перехватила Василия во дворе. В красном пальто, отороченном недорогим мехом, в красных же сапожках и малиновой шапочке, краснощекая и свежая, она производила впечатление. Она знала, что хороша, поклонники ежедневно утверждали ее в этой мысли, но вот для этого человека она была недостаточно хороша, и тут она уже ничего не могла поправить. Неподдельная грусть была на ее лице. Она пыталась спрятать ее за доброй улыбкой.

- Здравствуй, Вася! – сказала она.

- Здравствуй, Лора! – Он хотел пройти, она придержала его рукой. Это было достаточно интимное движение, но на них никто не смотрел.

- Поздравляю! – сказала она.

- Спасибо. Теперь поясни, с чем это ты меня поздравляешь.

- Не паясничай. Ты женишься.

- Аля на сей раз плохой информатор. Верно только то, что я хочу жениться. Все остальное в облаках, а над облаками, над их путями-дорогами в синем небе я не властен.

- Я не покушаюсь на твое счастье.

Он посмотрел на нее с легким оттенком вины. Ей было не по себе, но это, он знал, скоро пройдет.

- Ты нашел то, что искал? – прямо спросила она.

- Я только подошел близко.

- Поздравляю. – После каждой фразы она плотно сжимала тонкие губы. – И чем же она взяла?

- Всем! – Он сказал это вдохновенно, он весь светился. Лора вздрогнула и отпрянула.

- А я... я любила тебя!

- Прости, - сказал он и перестал улыбаться. Он знал, что сказал не то, что следовало сказать. – Мы ведь друзья.

- Конечно! Но ты любишь не меня.

Он кивнул, а потом, в обычной своей манере сказал, что у такой красавицы непременно будет прекрасный парень. Стоит только захотеть.

- Ну тебя! – вдруг крикнула она. Это была разрядка. – Будь счастлив, слышишь?

- И ты.

Она уже шла от него, ускоряя шаг, и снег скрипел, а каштановые ее волосы, падающие на плечи из-под шапочки, вздрагивали в такт шагам. Он не почувствовал утраты. Но, странное дело, не пришло и облегчения. У него, однако, было такое чувство, словно он сполна заплатил по всем своим предыдущим счетам.

30

Когда Василий сказал, что намерен заехать к ней субботним вечером, просто так заехать, на огонек и чашку чая, Ирина Ивановна не возразила. Но что-то произошло, и Василия Павловича встретили только ее старики Нина Николаевна и Иван Сергеевич. Ира уехала задолго до шести и не сообщила, куда, и не сообщила, когда ее ждать. Что же случилось?

«А про то, что я приду, она сказала?» – хотел спросить он, но не спросил. Он мог подвести ее неосторожным словом. «У нас дела! – сказал он, напуская туману. – Долго стояли, а теперь, кажется, можно развернуться. Хотел попросить, чтобы она в понедельник с утра побеспокоила сантехников и дорожников».

Дела, конечно. Дела важные, срочные, придуманные минуту назад. Но решаются они в рабочем, так сказать, порядке. Кого он обманывает?

- Садитесь, пожалуйста! – пригласила Нина Николаевна. – Рада, что ваш простой кончается. Я очень за вас переживала.

Василий сел, отметил приготовления к новому году. В углу на крестовине стояла елка, тонкое многоцветное стекло игрушек блестело, пахло хвоей. Приятные предпраздничные хлопоты. В черном костюме и белоснежной рубашке, торжественный и чинный, Василий Павлович улыбался Нине Николаевне и Ивану Сергеевичу. Диван глубоко прогибался под тяжестью его тела. Тумана он, конечно, никакого не напустил. Старики прекрасно поняли, что он пришел к их дочери и что все его дела к ней, и все его мысли о ней. Увидеть это было не трудно. Это подсказывали и костюм, и переданные Нине Николаевне три роскошные хризантемы, и неловкость в его поведении. Но задолго до его прихода раздался телефонный звонок, резкий, требовательный, и был взвинченный, сумбурный разговор, следствием которого стал спешный уход Ирины.

Нина Николаевна принесла фарфоровый чайник, усадила мужчин друг против друга, налила всем чаю и стала хвалить привезенный из Москвы цейлонский чай и московские же, фабрики Бабаева, конфеты. Растерянность и некоторую застенчивость гостя Нина Николаевна объясняла просто и, конечно, прощала. Ее Ваня тоже был таким. Совсем другим, но примерно таким. Приятно вспомнить, какими они были тогда, когда у них все начиналось, - в сказочно далекие времена их молодости. Василий опять отметил, что в этом доме живут не так, как в его семье, что здесь в особой цене дружба, уважение и взаимная поддержка.

Разговор не завязывался. Что с Ирой, думал каждый из троих. Но обменяться впечатлениями и высказать предположения было нельзя. Иван Сергеевич, обычно легко располагавший собеседника к себе, легко вызывавший его на откровенность, тоже чувствовал себя как-то потерянно. Но это следовало преодолеть, он – хозяин. Соколов, все же, был далек от его сфер. Но он видел и свою оторванность от сферы Василия Павловича. Практика с ее быстро совершенствующейся технологией постепенно отодвигалась от него. Тут он мог показать неосведомленность, попасть впросак, а ему этого не хотелось.

- По рюмочке? – предложил Иван Сергеевич первое, что мужчина предлагает мужчине при налаживании контактов, и извлек из серванта хрустальный графинчик, в котором у самой пробки плавали лимонные корочки. «Я не горазд, - сказал Василий, - и вы, я знаю, не горазды». Иван Сергеевич поднял бровь, изобразил удивление и несогласие, но вернул графин на прежнее место.

Разговора мужского, то есть содержательного, все еще не получалось. Что с Ирой? Чай был просто прекрасен, но ароматы далекого тропического острова только подчеркивали неординарность минуты. Если бы сейчас к ним присоединилась Ирина Ивановна, Василий бы просто смотрел на нее, яркую, как праздник, и ему было бы хорошо. А какая же неловкость, когда хорошо? Неловкости бы не стало, а те вопросы, которые остались произнесенными, можно было задать потом, а, возможно, и вообще не задавать.

Нина Николаевна включила телевизор. Певица в узбекских национальных одеждах пела на фоне новых ташкентских силуэтов. Бетон и стекло высотных зданий были привычно знакомы. Иван Сергеевич вложил во все это много своего, личного. Это и стало отправной точкой.

- Город, как человек, - сказал Иван Сергеевич. – Не находите? Он может становиться хуже или лучше, смотря по обстоятельствам. И может молодеть. Человеку это, к сожалению, не свойственно. Но если ты любишь свой город, ты его любишь всегда, как близкого человека, и эта привязанность из самых стойких. Я, когда уезжаю, считаю каждый день, оставшийся до возвращения домой.

- Ташкент становится похожим на другие большие города, - сказал Соколов. – Что это, издержки массовой застройки?

- Не совсем так. Издержки есть, и не маленькие, видные издали, и мы, архитекторы, за них краснеем. Но есть и удача, и не одна смелая идея воплощена в жизнь. Центр Ташкента становится индивидуален, как лицо симпатичного вам человека. Вы не знаете довоенного Ташкента, не помните Ташкент пятидесятых годов, когда торжество глинобита было безраздельным. Ваше знакомство с городом началось в шестидесятые годы, где самая памятная точка отсчета – землетрясение 26 апреля 1966 года. Тогда мы были озабочены тем, чтобы дать людям дешевые жилища. Чтобы ликвидировать наследие войны, трущобы и бараки, стихийно возникшие в военные годы вдоль Салара и по другим закоулкам города. Ведь в войну Ташкент дал кров почти миллиону эвакуированных. Дворец у нас все это время оставался один – театр оперы и балета имени Алишера Навои, творение прекрасного архитектора Щусева.

- Он и сейчас один, - сказал Василий. – Что вы поставите с ним рядом?

- Это здание говорит о гениальности академика архитектуры Щусева. Но мне интересно другое: нужны ли нам дворцы?

Василий подумал и сказал: «Очень нужны!» Сверлила мысль, что Ире сейчас нехорошо, что она, возможно, нуждается в его помощи, поддержке.

- Почему? Дворцы страшно дороги. Театр Навои – это по стоимости три нынешних Дворца искусств, а Дворец искусств вдвое вместительнее.

- Я за дворцы, они нужны, они средоточие красоты и центры притяжения, - повторил Василий.

- Вот и я считаю – нужны нам дворцы, от красоты прямая дорога к духовности и праведности. Многие из картин, хранящиеся сейчас в Эрмитаже, стоят большие миллионы. Но их никогда не продадут. Значит, они нам нужнее, чем деньги, которые можно за них выручить. Если с аукциона пойдет полотно Рембрандта или Ван Гога, мы не станем богаче. Мы станем беднее. Лучшее хранят, но не продают по случаю. Я не отвлекся? Театр имени Навои – я имею в виду само здание, как произведение искусства, - шедевр, лучшее из построенного в Ташкенте. Это здание воспитывает, являя пример совершенства, внушая мысль о совершенстве. Здесь нам удалось перешагнуть грань, за которой стирается понятие стоимости. Это здание, сколько бы оно ни стоило, теперь не имеет цены. Оно так прекрасно, что бесценно.

- Значит, дворцы нужны, потому что они прекрасны?

- Да. Люди останавливаются на них взгляд. Удивляются, а потом хотят, чтобы их взлеты тоже были заметны и оставляли свой след. Увидев прекрасное, они настраивают себя на высокое.

- А как породнить дворцы с массовой застройкой?

- Разве это возможно? И нужно ли? Ведь у нас и то, и другое для всех. Высокое и повседневное всегда соседи. Им суждено соседствовать, но не состоять в близком родстве.

- Здравствуй! – тотчас согласился Соколов.

- А много ли высокого в вашей работе? – поинтересовался Иван Сергеевич.

- Повседневного, такого, что идет от ремесла, куда больше. Но бывают и чудесные минуты. Когда бригада добивается задуманного, как это ни тяжело. Это и есть высокое.

- Нина, куда юноша клонит, а? Ставит знак равенства между победой творческой и трудовой.

- Угадали! А почему бы и нет? Каждая ваша творческая победа, она, ведь, одновременно, и трудовая. Каждая моя трудовая победа в какой-то мере и творческая. Мое творчество, конечно, иного, обыденного плана. Вы больше придумываете, сочиняете, я применяю готовые рецепты, но, доводя это готовое до каждого члена бригады, я перепробываю массу вариантов. В то же время, я вижу дистанцию. Я не могу того, что можете вы. Мне этого не дано. Вы скажете, что тоже не умеете многого из того, что умею я, но вам ведь недолго научиться. А вот я не смогу выучиться тому, что умеете вы.

«Где Ирина? Придет или не придет? Ее нет, ей не понравится, что я позволил себе явиться без приглашения. И что-то случилось», - с гнетущей горечью подумал Соколов.

- А помните, как замечательно было вечерами на улице Карла Маркса? – спросил Иван Сергеевич. – Вот куда направлялось паломничество молодежи! Весь город собирался, с самых окраин приезжали. Это был Невский проспект Ташкента. Мы с Ниной тоже очень любили это место. Оно вызывало приподнятость, громче стучало сердце. На Карла Маркса все девушки до единой становились красавицами. А после землетрясения это как оборвалось. Новый центр Ташкента красив и ухожен, но вечерами обескураживающе пуст. Видимо, что-то хорошее постоянно уходит из нашей жизни. Уходит навсегда, и нам становится грустно. Но мы не в состоянии это предотвратить.

- Виновато телевидение, - сказал Василий Павлович. – Точнее, само время виновато. У меня, например, нет сейчас в Ташкенте любимой улицы, которая звала бы меня вечерами. И любимого парка нет. Телевизор заслонил собою парки и любимые улицы.

- Благодарю за рациональность мышления. Но только ли в телевидении дело? Скорее всего, другим юношам понравились другие песни. И улица Карла Маркса вышла из моды. Вы, конечно, правы, дело во времени. Время быстро меняет нравы людей.

- И потом, прежде город был меньше, и отовсюду легко было добраться до центра трамваем. Я помню. Полчаса, я и в центре. А сейчас от вас или из Чиланзара за полчаса до центра не доберешься.

- Вы наблюдательны. Пора, пора в Ташкенте строить метро!

«Когда придет Ирина? Пятая чашка чая, пора и честь знать. Но пока я с ее батеи беседую на равных, вот чудеса!» – подумал Василий. Он редко попадал в такие каверзные ситуации. Уйти, не повидав ее? Нет, раз уж он здесь, он подождет еще. И пусть ему будет еще больше неловко, но он ее дождется.

- Почему в новой архитектуре так мало национального? – спросил он.

- Вы правы, национальное часто вытесняется рациональным. И так во всем мире, не только у нас. Но мы строим дворец Дружбы народов. Он полностью в национальном стиле.

- Он будет лучше театра Навои?

- Не лучше и не хуже. Знаете, дворцы замечательны тем, что ни один не повторяет другого. Дворец – это всегда обособленность и индивидуальность. Вот в стандартных жилых кварталах нет ничего национального, Черемушки ли они или Чиланзар. Они одинаково безлики по всей стране.

- Знаете, как зовут вашу дочь у нас на участке? Наяда! – вдруг выпалил он.

Иван Сергеевич всплеснул руками. Спросил: «И кто первый назвал ее так?» Ответа не получил, в рабочей гуще родилось это имя. Зазвонил телефон. Нина Николаевна быстро взяла трубку. «Нервничает!» – отметил Василий. Но атмосфера в доме оставалась задумчивой, и это ему было трудно объяснить.

- Вас, товарищ Соколов! – почти официально пригласила Нина Николаевна. Он услышал голос, далекий и такой дорогой.

- Извините меня, пожалуйста! Олег Федорович ушел из дома. И я... уговариваю его вернуться!

- Мне подождать вас?

- Не надо! Пожалуйста! Я хочу побыть одна. После всего, что на меня накатило...

- Согласен. Спасибо, что вспомнили и позвонили. – «Она не одна! Она уже никогда не будет одна!» – вдруг почувствовал он.

- Я почти потеряла голову.

- Спокойнее, Ирина Ивановна! Прежде всего, сохраняйте спокойствие, – сказал он громко и торжественно. Но тон этот был взят не для нее – для Нины Николаевны и Ивана Сергеевича. – Все будет хорошо. Вы меня слышите? Все будет очень даже хорошо!

Теперь – скорее откланяться и уйти. Ему казалось, что сейчас Ирина Ивановна от него дальше, чем в тот весенний день, когда он увидел ее впервые. А тогда он просто смотрел на нее издали, и его воображение никак не реагировало на этот впервые явленный ему яркий девичий образ.

Она шла, потерянная, опустошенная. А жизнь никогда еще не была такой буйной и вздыбленной, не укладывающейся ни в какие рамки. Хрустел снег, ей же было жарко. Все эти дни она стояла перед выбором. Но теперь Олег Федорович ушел из дома, и все еще осложнилось. Он ночевал в своем кабинете, был печален и решителен. Его холодное спокойствие действовало на нее сильнее пылких объяснений. Она не думала, что он отважится. Позвонив ей, он был краток и мягок. Не уговаривал, не просил, не ставил условий. Информировал, и все. Как будто все остальное должно было устроиться само собой. И она растерялась, долго молчала, прежде чем произнесла: «Этого не надо, этого нельзя было делать! Вы не только себе, вы многим людям делаете больно!»

- Почему нельзя? – удивился он. – Можно! Задумано – сделано. Я слишком долго мучил Надю, тебя, себя. Половинчатость и неопределенность в моем случае худшее из зол. Но главное не в этом. Главное в том, что Надежда Викторовна совершенно неизлечима.

- Вы ошибаетесь! Вы поступили очень плохо. Ваша Надежда Викторовна вполне, вполне излечима. – Каждое слово она произносила внятно и назидательно, будто задавала урок на дом самому непонятливому из своих учеников.

- Я долго мечтал увидеть, что ошибаюсь. Но вижу почему-то одно обратное.

- Я еду.

Она думала, что уговорит его, что он поддастся, что он хочет этого. Но что могла она, девочка, что значил ее легковесный жизненный багажник рядом с его опытом, новыми планами, радужными надеждами? Он слушал ее увещевания и тепло улыбался. Глаза его светились детской чистотой, наивной и доверчивой. Он был добр и великодушен и предоставлял ей свободу выбора.

- Надежда Викторовна – это не ты и не я, - сразу сказал он, - и от того, что у нее одной вещь станет меньше, ничего в ее жизни не изменится. Уже не предлагаю тебе уехать, для этого теперь нет оснований. Бегства не будет, я здесь выдержу взбалмошную непогоду. Люблю и жду, ты должна знать только это. Все!

Он говорил емко и умно. Она почувствовала, что свобода вернула ему уверенность и силу. Этого она не ожидала. Она ожидала увидеть человека, опустившегося под тяжестью взваленной на него ноши и остро нуждавшегося в ее помощи. Он же нуждался в ней, как в своей половине, но не в ее товарищеской помощи. Перемена в его поведении, в самом его облике была разительная. По сути дела, с ней говорил другой, неведомый ей человек, столь велико было обновление. Это и поразило ее сильнее всего. Глубокая печаль – и мощная, страстная, готовая крушить и созидать сила. Разрушая, он мог на освободившемся месте созидать, он жаждал созидать, и новое, она видела, могло быть лучше, много лучше старого. Она делала открытие за открытием, и каждому из них было одно имя – Конкин. И каждое из них наполняло ее грудь болью и радостью.

Почему люди так трудно находят пути друг к другу, подумала она. В пытливых, глубоко посаженных глазах Олега Федоровича была печаль и сила. Все сначала! Его право на это казалось ей теперь выстраданным и неоспоримым, как сама жизнь.

32

Весной работы на объектах завода «Жалюзи» вновь пошли полным ходом, но предстояло наверстать упущенное. Прохоров направил Конкину рапорт, в котором просил усилить бригаду Соколова людьми и поторопить субподрядчиков, и Олег Федорович сделал все от него зависящее, чтобы справедливые требования его старшего производителя работ были удовлетворены. Оставалось, правда, еще одно дело деликатного свойства. На конец мая надо было пригласить представителей итальянской фирмы, поставившей оборудование, для выполнения пуско-наладочных операций.

Сначала Олег Федорович написал рапорты в трест с просьбой привлечь к работам специализированные организации в сроки, приемлемые для генерального подрядчика. Он не любил нудную эту писанину, он считал это переливанием из пустого в порожнее, но в данном случае надо было оставить след, и телефонный звонок не мог заменить документа. Отлив сменился приливом, и теперь «Жалюзи» будут доведены до финиша без серьезных сбоев. В этом смысле перспективы рисовались четкие. Но были и нюансы, в отношении которых следовало проявить большое внимание. Неустойка, которую предстояло уплатить итальянцам, могла выставить кое-кого в неприглядном свете, сделать козлом отпущения. Но все это детали, мелочи быта. Олега Федоровича тоже дергали мелочи быта – кафе и столовые, где не готовили ничего вкусного, и прачечные, которые теперь обслуживали его. Но былая энергия вернулась к нему, и вернулась вера в себя. Вторая молодость владела им безраздельно. Ирина Ивановна, однако, продолжала загадывать загадки. Он же думал, что находит ключи к каждой из них, и потому жить ему было хорошо. Страдание очищало и мобилизовало. К тому же, управление прекрасно начало год, и была возможность укрепиться на высоких рубежах.

Сейчас ему предстояло сочинить бумагу о том, чтобы вызвали итальянцев. И без них можно было обойтись, но надежнее, чтобы за свое они ответили сами. Итальянцам теперь положено уплатить денежку за повторный приезд. И Олегу Федоровичу надо было выстроить надежный заслон из объективных причин, чтобы неустойка обошла его и трестовское начальство денежным начетом. Надо было проявить дальновидность и вообще никого не подвести. В конце концов, решение затормозить работы на заводе «Жалюзи» было принято не им самим и не его непосредственным начальством. Оно было продиктовано сверху и названо государственной необходимостью. А что такое государственная необходимость? Это то, за что отвечают люди на самом верху, и до них такую мелочь, как повторный приезд итальянцев, даже не доведут. Надо было собраться с мыслями, подумать. Никого не подвести, еще раз сказал он себе. Никаких бумерангов. Тогда и его вину, если она есть, никто не станет выпячивать, тогда и он останется на хорошем счету, тогда и ему будет спокойно.

Он положил перед собой чистый лист бумаги и стал думать.

33

В кабинете Конкина было плотно накурено. Когда вошел Василий Павлович Соколов, он увидел Олега Федоровича осунувшегося, лицом и телом опавшего еще, хотя куда было ему еще опадать лицом и телом, но деятельного, энергичного и, судя по блеску глаз, своей судьбой вполне удовлетворенного. Против него на мягком стуле сидел Геннадий Емельянович Прохоров и чего-то назойливо просил. «Вы дайте, - клянчил он, как ребенок у мамы, - и я поднажму, я тогда обеспечу». Это он умел бесподобно, это была его любимая песня. Рядом с Геннадием Емельяновичем сидела Ирина Ивановна Пеночкина, торжественная, загадочная. Наяда, вышедшая к людям из белых озерных туманов. «Свет мой негасимый!» – подумал он и всем приветливо улыбнулся.

- Пстой, Емельяныч, фантазер явился, - вдруг приостановил скучную осаду Прохорова Олег Федорович. – Садись, Василий Павлович, давно не виделись. Догадываешься, для чего приглашен?

- Никак нет, Олег Федорович! – сказал Соколов и лишил свое некрасивое, полнощекое лицо каких-либо эмоций. Ирина Ивановна на него глаз не подняла, и в этом было что-то новое, непонятное. Случайность? Линия поведения?

- Мы тут документик один подготовили, с Прохоровым. Долго сидели, мозговали. Извини, что без тебя начали, да ты продолжишь, так что, выходит, и не без тебя. О тебе помнили все время.

- О чем бумага? – полюбопытствовал Соколов.

- Подряд тебе предлагаем. На профессионально-техническое училище. Начнешь в сентябре, кончишь будущим августом. Первого сентября чтобы звонок прозвенел, честь по чести, ты это знаешь. В смысле материально-технического обеспечения обещаем не подводить.

- И рубль свой готовы выложить, если с вас неустойка выйдет?

- Какой ты ершистый! Рубль, который на неустойку пойдет, был и будет государственный. Оно у нас хозяин, не я и не ты. А какой оно у нас хозяин, ты уже осведомлен, личный опыт у тебя накапливается. Мы все здесь только исполнители, действующие от его имени.

- Любите приbedняться, Олег Федорович. Давайте договор!

Он читал, а Прохоров и Конкин следили за выражением его лица, и только Ирина Ивановна не спешила поднять на него глаза. Подряд был разработан обстоятельно, обязательства сторон перечислены скрупулезно, и Соколов отметил это про себя. Каких-либо упущений он не увидел. Значит, Прохоров и Конкин теперь его союзники, а не одна Ирина Ивановна. Соколова ободряло отсутствие общих мест. Все было обсчитано конкретно, и каждый, как и положено, отвечал за себя.

- Беру подряд, - сказал Соколов.

- Бери, бери! – поддакнул Геннадий Емельянович.

- Поскольку строительный мастер Пеночкина до конца года будет занята на «Жалюзи», до сдачи завода заказчику, прямым начальником у тебя на новом объекте будет Прохоров. По-нынешнему, он будет тебе другом, товарищем и братом и еще отцом родным. Так что люби и жалуй.

- Попробую, - согласился Василий Павлович. - Мне к Геннадию Емельяновичу не привыкать. Так что и ему придется любить меня и жаловать.

- Ладно, - сказал Прохоров. – Соколов – кадр проверенный, выдержанный. Один у него остался недостаток, сто граммов по субботам не подносит, глубокого уважения не выказывает. И я об этом при всем честном народе заявляю, чтобы видели и знали.

- Исправишься? – спросил Конкин.

- Исправлюсь, вестимо, - так же серьезно пообещал Василий Павлович.

- Тогда изучай бумагу и готовься. Чтобы с места рвануть. Дым и искры!

- Людей мне добавьте, на училище кирпичной кладки много.

- Реально мыслишь, - сказал Геннадий Емельянович. – Еще в чертежи не заглянул, а добавку просишь. Объясни, пожалуйста, в кого ты такой въедливый и жадный? Все вроде бы имеешь, все тебе дают, что просишь, а тебе мало, мало.

- Мало! – охотно согласился Соколов.

- Я и говорю, что мало. Даю больше – опять мало. Еще прибавляю – снова мало. И до каких пор тебе будет мало?

- Так и вам старого мало, - сказал Соколов. – Вы вот как славно над бумажечкой этой посидели. Вы много чего предусмотрели. Значит, и вам мало!

- Не обкатывай, давно обкатаны и круглы! - сказал Конкин.

- Обкатаны, обкатаны! На годы вперед обкатаны! – с удовольствием поддакнул Геннадий Емельянович. – Сейчас самое время скрепить эту важную бумагу.

- Давайте, подпишу. – Василий шагнул к столу.

- Я разве про подпись твою толкую? Подпись твоя никуда не уйдет. Учю, учю, а понятливости никак не воспитаю. Не улавливаешь ты торжественности момента! Ладно, пойду, распоряжусь, раз ты такой несообразительный. А с тебя потом вычту.

Геннадий Емельянович вышел. В кабинете остались трое. Василий поднял глаза на Ирину Ивановну. И на нее же, не отрываясь и странно светлея лицом, смотрел Олег Федорович.

- Сейчас я сообщу вам свое решение, - сказала она. Она была довольна собой, светла и очень хороша. Она была недостижимо хороша. Она встала, и тотчас встали Соколов и Конкин. Они были само внимание. Три сердца стучали гулко, но не в унисон. Вдруг один из мужчин потупил горячий и страстный свой взгляд, неуклюже поклонился двоим другим и сказал с чувством собственного достоинства: «Будьте счастливы!»

И еще раз поклонился. Повернулся и вышел. Но тотчас ему в спину метнулся горячий женский крик: «Куда ты? Я с тобой!»

А второй мужчина стоял, опустив голову, и до него не доходило, что все уже произошло, и надежде надлежит родиться другой и новой.

Конец.

Редакция 2010 года.